

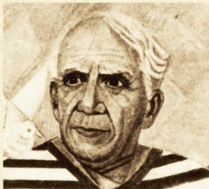
Илья *Финанс* Эренбург



Люди, годы,
жизнь

Под колесами
времени

Всеволод Мейерхольд,
Пабло Пикассо,
Марина Цветаева,
Владимир Маяковский,
Алексей Толстой
и другие



**Илья Григорьевич Эренбург
Люди, годы, жизнь. Под
колесами времени. Книги
первая, вторая, третья
Серия «Диалог эпох»**

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=7670466

*И. Г. Эренбург. Люди, годы, жизнь. Под колесами времени. Книги
первая, вторая, третья: АСТ; Москва; 2023
ISBN 978-5-17-156019-5*

Аннотация

Знаменитые воспоминания Ильи Эренбурга «Люди, годы, жизнь» но праву считаются наиболее интересным и полным повествованием среди всего написанного русскими писателями XX века. Недаром несколько лет назад Министерство образования и науки РФ включило его мемуары в список «ста книг», рекомендованных к чтению.

В настоящем томе Эренбург рассказывает о своей жизни, о городах и странах, где жил, о своих друзьях – великих поэтах, художниках, политиках, о трагических событиях Первой мировой и Гражданской войн, свидетелем и участником которых он стал. Среди героев автора П. Пикассо, А. Модильяни, Д. Ривера,

Г. Аполлинер, М. Волошин, М. Цветаева, Б. Пастернак, В. Маяковский, С. Есенин, И. Бабель, В. Ленин, Л. Троцкий и многие другие.

Содержание

Мемуары Ильи Эренбурга «Люди, годы, жизнь» (от замысла – к рукописи, от издания – к читателю)	6
Книга первая	46
1	46
2	53
3	59
4	74
5	84
6	96
7	102
8	117
9	127
Конец ознакомительного фрагмента.	134

Илья Эренбург

Люди, годы, жизнь. Под колесами времени. Книги первая, вторая, третья

© И. Г. Эренбург (наследники), 2023

© Б. Я. Фрезинский (наследники), подготовка текста, предисловие, комментарии, 2023

© ФГУП МИА «Россия сегодня», 2023

© ООО «Издательство АСТ», 2023

*** * ***

Мемуары Ильи Эренбурга «Люди, годы, жизнь» (от замысла – к рукописи, от издания – к читателю)

*Костра я не разжег, а лишь поставил
У гроба лет грошовую свечу...*
Илья Эренбург¹

Том первый (1891–1934)

Интервал исторического пространства-времени, о котором писатель и общественный деятель Илья Григорьевич Эренбург (1891–1967) повествует в первом томе своих знаменитых мемуаров, начинается с Российской империи при царствовании Александра III и Николая II и заканчивается воцарением в СССР политической диктатуры Иосифа Сталина. В него уложилась череда знаковых событий как общероссийского, так и мирового значения: русская революция 1905 года, Первая мировая война 1914–1918 гг., большевистский переворот октября 1917 года и следом – Гражданская война (1918–1921), создание всемирного коммунистического движения (Коминтерн), смерть лидера большевиков

¹ Из стихотворения «Люди, годы, жизнь» (1964).

В. И. Ленина (1924) и острейшая схватка его наследников за лидерство в партии и стране (1924–1929), в которой, используя реальную мощь партаппарата, верх взял генсек Сталин, ликвидировавший оппозицию, подчинивший себе партию и Коминтерн, а следом – коллективизировавший деревню, уничтоживший самую дееспособную часть крестьянства, установив в итоге тотальную власть в государстве. Конечно, Илья Эренбург мог писать лишь о том, что знал и помнил, участником или свидетелем чего ему довелось быть лично. 1905 год в Москве, большевистская организация и арест, политическая эмиграция, парижская группа содействия большевикам, Ленин, Каменев, Троцкий, Зиновьев и уход от большевиков. Конечно, в его жизни была не только политика, были стихи, любовь и первая жена, студентка Сорбонны Катя Шмидт, родившая в 1911 году ему дочь Ирину, а потом его бросившая, уйдя к Тихону Сорокину. Была парижская богема, художники «Ротонды», дружба с мало кому тогда известными Модильяни и Пикассо. Была война, поездки на франко-германский фронт и его корреспонденции оттуда в русские газеты. Эренбург помнил долгожданное возвращение в Россию летом 1917-го и ужаснувший его там раздраз, весь кошмар 1917–1920 годов, красных, белых и зеленых, помнил погромы и ВЧК, бегство на барже из врангелевского Крыма в свободный Тифлис. Потом возвращение в голодную Москву 1920 года, где невозможно было думать о романе «Необычайные похождения Хулио Хуренито

и его учеников», как он думал о нем в Париже 1916-го и в Киеве 1919-го. Помнил, как друг его юности Николай Бухарин помог ему получить разрешение на отъезд в Париж с советским паспортом. Обо всем этом хотелось рассказать (наверное, с разной мерой подробностей) в своих мемуарах. Он не мог и не собирался писать о том, чего не видел и не знал: о страшной коллективизации, о методичном укреплении личной власти Сталина.² Ликвидацию политической оппозиции в СССР Илья Эренбург, поселившийся в 1921 году за границей, посчитал делом сугубо внутривластным, лично его не затрагивающим, ведь серьезные житейские проблемы возникли лишь на рубеже 1920–30-х годов, главным образом из-за жесточайшего мирового экономического кризиса, о чем он тоже должен был рассказать в мемуарах...

Воспоминания «Люди, годы, жизнь» могли быть написаны только после смерти Сталина, в годы относительной либерализации жизни в стране.

Собственно, замысел большого повествования о прожитой жизни, о людях, с которыми она сводила, о событиях, свидетелем или участником которых доводилось быть, о странах, куда заносила судьба, стал складываться у Ильи Эренбурга в середине 1950-х годов.

Первую попытку поделиться с читателями рассказом о

² С 1921 г. живя на Западе и приезжая в СССР в 1924 и 1926 годах, Эренбург месяц-другой ездил по стране, встречался с друзьями-писателями и с Бухариным, но каких-либо серьезных тревог не ощутил, а в следующий приезд в 1932 г. очертания единоличной власти уже были заметны всем.

своей жизни Эренбург предпринял еще в «Книге для взрослых», соединившей в себе роман с мемуарами; этот замысел возник в 1935-м (в конце года, будучи в Москве, Эренбург поделился им с редакцией «Знамени», откуда в самом начале 1936-го письмом в Париж заинтересованно напомнили ему об этом, и он засел за работу). «Книга для взрослых» вышла из печати накануне 1937 года, который, как оказалось, меньше всего располагал к воспоминаниям. Определяя для себя в конце 1950-х момент, когда можно будет приступить к новой большой работе, Эренбург, надо думать, держал в голове историю и судьбу «Книги для взрослых». Многие ее мемуарные страницы он использовал в процессе работы над книгой «Люди, годы, жизнь», но акценты в повествовании существенно изменились – исчезли былая ирония, жесткость иных суждений. «Мы слишком часто бывали в размолвке с нашим прошлым, чтобы о нем хорошенько подумать. За полвека множество раз менялись оценки и людей и событий; фразы обрывались на полуслове; мысли и чувства невольно поддавались влиянию обстоятельств. Путь шел по целине; люди падали с обрывов, скользили, цеплялись за колючие сучья мертвого леса. Забывчивость порой диктовалась инстинктом самосохранения: нельзя было идти дальше с памятью о прошлом, она вязала ноги...»³ – с такой мыслью он приступил к повествованию о людях, годах и жизни.

Хрущевская оттепель, казалось, открывала возможность

³ См. наст. изд. С. 25–26.

вернуться к прошлому и разобраться в нем; за три года после смерти Сталина страна сделала заметный шаг к самоочищению. Даря в 1956 году знакомому человеку свою повесть «Оттепель», Эренбург сказал, что все оставшееся время будет писать одну книгу – воспоминания. В своих литературных планах после «Оттепели» он вообще отказался от беллетристики. Характерным в этом смысле было и его категорическое решение исключить из своего последнего прижизненного собрания сочинений такие откровенно неудавшиеся ему вещи (советская цензура, напротив, к ним благоволила), как повесть «Не переводя дыхания», роман «Девятый вал» и вторая часть повести «Оттепель». При этом художественная эссеистика, стихи, переводы и международная публицистика оставались для него жанрами в разных смыслах актуальными.

Что же касается собственно воспоминаний, то прошли долгие четыре года, прежде чем Эренбург приступил к этой объемной работе. Тому были причины как внутреннего, так и внешнего порядка. О внутренних причинах Эренбург написал 5 мая 1958 года в «Автобиографии»: «Мне 67 лет, друзья иногда спрашивают меня, почему я не пишу мемуаров. Для того чтобы задуматься над прошлым, нужно отъединение и время, а у меня нет ни того, ни другого, я живу настоящим и все еще пытаюсь заглянуть в будущее. Жизнь нельзя просто пересказать, это неинтересно. Да и опасно полагаться на память: оглядываясь назад, видишь десятилетия в тумане,

лес, а в лесу – случайно запомнившиеся полянки. Для того чтобы рассказать о жизни, следует ее продумать...»⁴

В этой цитате выделим слова «я живу настоящим» и добавим к ним фактическую справку: Эренбург практически не писал в стол, он работал для своих современников⁵, при этом хорошо знал политическую кухню цензуры и писал на пределе допустимого. В 1930–50-е годы только стихи сочинялись без какой-либо оглядки на возможность их публикации; некоторые из стихотворений не печатались годами, дожидаясь лучших времен, иные были опубликованы уже посмертно. В черное время (13 февраля 1953-го) Е. Л. Шварц проницательно записал об Эренбурге в дневнике – там, где рассказывал о встречах с ним в 1920-е годы: «Потом, позже угадал я его дар: жить искренне, жить теми интересами, что выдвинуты сегодняшним днем, и писать о них приемами ис-

⁴ Советские писатели. Автобиографии. <Т.1>. – М., 1958.

⁵ Сошлюсь и на свидетельство искусствоведа И. Голомштока, которому Эренбург сказал: «Я средний писатель. Я не могу писать в стол. Я знаю: то, что я пишу, сегодня нужно людям, а завтра это будет уже не нужным». Его слова так прокомментированы Голомштоком: «Это было точно! Даже в самых скучных своих романах 40-х годов Эренбург всегда доходил до грани запретного, слегка переступал за эту грань, за что неоднократно подвергался строгой критике в прессе. Я, по крайней мере, всегда находил в его романах что-то мне “нужное”. И кто бы из наших “письменников” назвал бы себя средним писателем! Температура моего уважения к Эренбургу подскочила на несколько градусов!» (Знамя. 2011. № 3. С. 161). Думаю, объективно говоря, что Эренбург не был «средним писателем» своего времени, он имел *свое* лицо.

куства сегодняшнего дня».⁶

Внешняя причина задержки с мемуарами – политический откат, происшедший в конце 1956 года в СССР после революционных выступлений в Польше и восстания в Венгрии, подавленного Советской Армией. Началось контрнаступление сталинистов на ту часть интеллигенции, в которой они видели главную опасность своей неограниченной власти.

Публикация эссеистики Эренбурга 1955–58 годов была пробой для его мемуаров (Эренбург писал о Бабеле и Цветаевой, о Лапине и Сарьяне, о любимых французских поэтах, прозаиках и художниках, об итальянском кино, о Чехове, о странах Азии, где побывал впервые, об их культуре и традициях). Эта работа, своеобразная «разведка боем»⁷, позволила ему оценить реальные границы цензурно дозволенного в новых условиях послесталинского времени. Работая на этой грани возможного, Эренбург не раз ее переступал, чтобы, под нажимом цензуры, у последней черты сказать нет, фактически означавшее для него запрет публикации. При этом, конечно, Эренбург рассчитывал на свою международную известность, поддержку в кругах левой интеллигенции Запада, заинтересованность реформистской прослойки из хрущевского окружения в освобождении страны от сталинского наследия и улучшении ее зарубежной репу-

⁶ Шварц Е. Я живу беспокойно: из Дневников. – Л., 1990. С. 294–295.

⁷ В одноименном стихотворении (1939 г.) Эренбург так назвал годы своей молодости.

тации. И тут уже, опасаясь международного скандала, ему, случалось, уступали. Художественная эссеистика Эренбурга вызывала озлобленные нападки ортодоксов, подчас срежиссированные аппаратчиками ЦК КПСС (как это было с «Уроками Стендаля»). Победы в те годы сталинисты, и самая возможность обращения к читателю с книгой воспоминаний для Эренбурга закрылась бы. После 1958 года, ослабившегося позорным мировым скандалом в связи с Нобелевской наградой Б. Л. Пастернаку, советский политический маятник снова чуть качнулся в сторону цензурного послабления, и Эренбург почувствовал, что наступает время для его заветной работы. «Осенью 1959 года, – вспоминал он позднее, – я часто говорил себе, что нужно сесть за стол и начать книгу воспоминаний; обдумывал план книги и, как всегда у меня бывало, оттягивал начало работы...»⁸ Эренбург решил довести мемуары до весны 1953-го, но уверенности, что удастся напечатать все написанное, у него не было, и впервые за последние годы писательства он готов был к тому, что не все им написанное будет опубликовано.

Однако, несмотря на подчас свирепевшую цензуру, Эренбургу ценою некоторых дипломатических уступок и хитростей удалось напечатать едва ли не все написанные им главы – годы работы над книгой «Люди, годы, жизнь» стали временем заметных перемен и сдвигов в стране, и сами эренбурговские мемуары работали, по мере их публикации, на эти

⁸ См. наст. изд.: том 3, книга 7, глава 21.

перемены.

Эренбург понимал, что были писатели, вся творческая и жизненная энергия которых реализовалась в их книгах (это подтверждают его слова в мемуарах о беззаветно любимом Гоголе: «Каким светом озарил этот угрюмый, болезненный, в жизни глубоко несчастный человек и Россию и мир!»).⁹ Для других же литература являлась одной из форм их участия в жизни (к ним, скажем, можно отнести и столь ценного Эренбургом Стендаля). В этом смысле и о самом Илье Григорьевиче, человеке умном и одаренном, в молодости менявшем не только политические взгляды, но и художественные увлечения, можно сказать, что его собственная жизнь, отмечена непримиримостью и компромиссами, непоседливостью, общительностью и очень замкнутым ближним кругом, дружбами и знакомствами с гениальными художниками и поэтами, неизменной верностью искусству и политическим реализмом. Словом, именно жизнь Эренбурга – его самый интересный роман. Поэтому, наверное, воспоминания «Люди, годы, жизнь» стали для отечественных читателей 1960-х годов захватывающим чтением (вопреки всем издержкам, неминуемым для подцензурного сочинения в условиях тоталитарного государства). Эта его книга сыграла исключительную роль в формировании молодого поколения того времени. То обстоятельство, что нынешний памятливым читатель располагает знанием куда более острых и трагических фак-

⁹ См. наст. том, книга 3, глава 14.

тов, чем приведенные на страницах книги Эренбурга, никак не лишает ее интереса и значительности; как раз напротив — эти вновь полученные знания позволяют точнее и лучше понять Эренбурга, его недоговоренности, намеки, мучения, его веру, его неуступчивость и компромиссы. Надеюсь, что и нынешние комментарии к мемуарам «Люди, годы, жизнь» способствуют тому же.

В течение пяти лет мемуары Эренбурга печатались в «Новом мире». По существу, это был единственный тогда журнал, куда он мог предложить свою рукопись, хотя его отношения с главным редактором журнала А. Т. Твардовским были едва ли не прохладными (ранних вещей Эренбурга Твардовский не знал, его поэзию ни во что не ставил, поздней прозой пренебрегал; в свою очередь, сложившиеся в 1910–20-х годах поэтические симпатии Эренбурга были в целом далеки от поэтики Твардовского). Взаимоотношения чуть потеплели после публикации в журнале нетривиального эренбурговского эссе «Перечитывая Чехова» (1959). Но, даже печатая «Люди, годы, жизнь», главный редактор «Нового мира» в своих Дневниках 1960-х годов¹⁰ многократно и охотно фиксировал высокомерное пренебрежение не только к литературной работе Эренбурга, но и к самой его личности, к его вкусам и стилю, как он их себе представлял, а Эренбург был человеком не в пример более закрытым и дневников не вел, так что документального свидетельства его личного от-

¹⁰ Твардовский А. Новомировский дневник: в 2 т. — М., 2009.

ношения к Твардовскому (литератору, редактору, человеку) не оставил. Отметим также, что немного найдется среди достойных наших писателей середины XX века ментально и житейски более далеких друг другу людей, чем Твардовский и Эренбург.

Несмотря на это, главный редактор «Нового мира» сразу же решил печатать «Люди, годы, жизнь» и неизменно был корректен в общении и переписке с Эренбургом, предоставляя, правда, ему самому добиваться цензурного разрешения, если речь шла о запретах политически непроходимого материала, и лишь однажды отказался печатать неприемлемую лично для него главу мемуаров о Фадееве. Только после смерти Эренбурга, невольно сравнивая его с другими «советскими классиками», скажем с Фединым или Тихоновым, пережив к тому времени немало жестоких разочарований и ударов, Твардовский переосмыслил и самое значение мемуаров Эренбурга, ответственно пообещав им «прочную долговечность».¹¹

Приведем еще одно суждение о мемуарах Эренбурга из дневника близкого к диссидентскому кругу писателя А. К. Гладкова, который в 1960-е годы часто бывал у И.Г., подолгу с ним разговаривал и записывал в дневник многое из того, что считал важным. Одна запись сделана им через год после смерти Эренбурга – 24 сентября 1968 года. Про-

¹¹ *Твардовский А. Памяти Ильи Григорьевича Эренбурга // Новый мир. 1967. № 9. С. 286; см. также: Твардовский А. Собр. соч.: в 5 т. Т. 5. – М., 1971. С. 379.*

смотрев томик «Люди, годы, жизнь» с 5-й и 6-й частями, Гладков записал: «Мне понадобилась одна справка из мемуаров Эренбурга, и я стал перелистывать третий том и кое-что перечитал. Вот книга, которая за время своего существования то понижается в цене, то растет. Сейчас она снова кажется почти невысказанно смелой и откровенной (как потемнел общий фон), а когда И.Г. печатал при жизни последние части <искореженные цензурой. – Б.Ф.>, то на фоне расцвета самиздатовской литературы она казалась и трусливой, и приблизительной, и туманной. Истина, как всегда, посередине, но настоящая оценка ее (как и всего написанного Эренбургом) возможна в соотношении с окружающим: она не существует отдельно от него: она с ним связана сложной исторической связью».¹² Это суждение из дневника, а вот другое, из его собственных воспоминаний об Илье Григорьевиче: «Писатель Эренбург не мог не знать, что в истории литературы есть жестокая закономерность: авторы знаменитых автобиографических книг обычно надолго лишают себя подробных биографий <...> Психологически трудно вступить в соревнование с героем биографии, самым подробно рассказавшим свою жизнь. Работа грозит превратиться в безудержное цитирование, авторство станет пересказом... Илья Григорьевич прекрасно понимал это, и, когда я однажды за-

¹² Дневники А. К. Гладкова за 1968 г. / Публикация М. Михеева // Звезда. 2015. № 1. С. 179. Доживи А. К. Гладков до наших дней, он наверняка не отказался бы от этих слов.

говорил с ним на эту тему <...> сказал: “Я шел на это”. Он шел на многое – и на то, что очень долго никто не решится взяться за написание его биографии, и на то, что “Люди, годы, жизнь” сделают несуществующей едва ли не добрую треть им написанного, и на то, что совершаемая им попутно рассказу о своей жизни “переоценка ценностей” вызовет немедленные споры и протесты. И как все-таки хорошо, что написана эта энциклопедически щедрая, яркая, сердечная, добрая книга». ¹³

Книга первая

К работе над первой книгой мемуаров Эренбург приступил во второй половине декабря 1959 года. К той поре он постарался освободиться от многих побочных обязательств, хотя дела, связанные с общественно-политической работой остались неотмененными. 4 января 1960 года, уезжая по неотложному делу в Стокгольм, Эренбург сообщал другу своей парижской юности поэтессе Елизавете Полонской: «Пишу мемуары, но все время отрывают, а хочется восстановить прошлое». ¹⁴ Приступая к самому значительному замыслу своей жизни, Эренбург обращался к различным литературным источникам – книгам, газетам, архивным мате-

¹³ Гладков А. К. Поздние вечера. – М., 1986. С. 100–200; см. также: Воспоминания об Илье Эренбурге. – М., 1975. С. 261–262.

¹⁴ Эренбург И. Г. На цоколе истории. Письма 1931–1967 / Издание подгот. Б. Я. Фрезинским. – М.: Аграф, 2004. С. 477; далее: П2 и номер страницы.

риалам, а также к уцелевшим свидетелям событий (так, 17 февраля 1960 г. в письме к В. А. Радус-Зеньковичу, с которым в 1908 году он сидел в Мясницкой полицейской части Москвы, Эренбург расспрашивал о дальнейшей судьбе товарищей по подполью¹⁵; весной 1960 года отдельные главы рукописи посылал с просьбой отметить возможные неточности своему гимназическому товарищу В. Е. Крашенинникову, О. П. Ногиной; летом – Е. Г. Полонской). 15 апреля 1960 года Эренбург сообщил О. П. Ногиной: «Я закончил первую часть воспоминаний».¹⁶

Первая книга мемуаров Эренбурга повествует о первых 26 годах жизни Ильи Эренбурга. В ней главы о Киеве, где он родился 26 (14) января 1891-го, о Москве, куда в 1896-м переехала его семья (родители, их первые три дочери и он сам), о Первой московской гимназии, где учился, о друзьях большевистской юности Н. Бухарине, Г. Сокольникове, С. Членове и В. Неймарке, о молодой революционерке Н. Львовой, писавшей стихи, о Париже, куда он эмигрировал в декабре 1908 года, спасаясь от преследований за революционную работу, о политиках В. Ленине и Б. Савинкове, с которыми познакомился уже в Париже, о старшем друге Т. Сорокине, к которому ушла его первая жена, о друзьях парижской молодости: русских поэтах К. Бальмонте, М. Волошине, А. Толстом, французских поэтах Г. Аполлинере и М. Жакобе, о ху-

¹⁵ П2. С. 478–479.

¹⁶ П2. С. 480.

дожниках А. Модильяни, Ф. Леже, Д. Ривере и П. Пикассо.

Поэт Борис Слуцкий, которому Эренбург давал на прочтение все написанное до передачи мемуаров в редакцию журнала, вспоминал: «Правя мемуары, я, конечно, иногда разрушал музыку фразы, которая всегда выговаривалась прежде, чем выстукивалась на машинке. Вообще говоря, мемуары читали (до журнальных редакторов) всегда и по главам – Наталия Ивановна <Столярова, секретарь Эренбурга. – *Б.Ф.*> (она их перепечатывала), Любовь Михайловна <жена писателя. – *Б.Ф.*>, Ирина Ильинична (его дочь), я и Савич <ближайший друг писателя. – *Б.Ф.*>. Кроме того – так сказать, узкие специалисты. <...> Мелкие справки наводились по “Ляруссу” и Большой советской энциклопедии (2-е издание). В случае надобности читалась всякая дополнительная литература. Эренбург слушал замечания, даже требовал их, спорил, часто соглашался. Один из важнейших законов, которые он выработал для мемуарной книги, – не писать о плохих людях (кажется, никто из них не удостоился отдельной главы) и не писать плохого о хороших людях. Эренбурга обвиняли в очернительстве, а закон, оказывается, толкал на лакировку».¹⁷

Критик Б. М. Сарнов приводит услышанные им от Эренбурга слова о книге «Люди, годы, жизнь»: «Я писал ее для печати. В первой книге, которую я сейчас закончил, есть толь-

¹⁷ *Слуцкий Б.* О других и о себе / Сост., подгот. текста, примеч. Петра Горелика; вступ. статья Никиты Елисеева. – М., 2005. С. 206.

ко одна глава, которая пойдет в архив¹⁸. Это – глава о Троцком. Я сам не хочу ее печатать... Я встретился с ним в Вене в 1909 году¹⁹. Он очень мне не понравился... авторитарностью, отношением к искусству... Я не хочу сейчас печатать эту главу потому, что мое отрицательное отношение к Троцкому сегодня может быть ложно истолковано. А все остальное хочу напечатать»²⁰, однако после смерти Эренбурга эту главу в его архиве не обнаружили; скорее всего, она так и не была написана.

Работая над мемуарами, Эренбург старался сбить с толку цензуру. Так, рассказ о Б. В. Савинкове написан иначе, чем другие портретные главы, – он начинается с ряда эпизодов из жизни самого автора и поначалу вообще не кажется портретной главой. В воспоминаниях о Бухарине и Сокольникове речь идет только о годах юности героев (к рассказу об их дальнейшей судьбе Эренбург предполагал вернуться позднее).

О новой работе писателя 9 апреля 1960 года сообщила

¹⁸ Эренбург имеет здесь в виду невозможность напечатания главы по причинам политическим. Когда 16-ю главу о Т. И. Сорокине прочла мать единственной дочери Эренбурга Ирины Е. О. Сорокина, которая в 1913 году ушла от Эренбурга к его другу Т. И. Сорокину, она попросила И.Г. не печатать эту главу при ее жизни, и он пошел ее просьбе навстречу (впервые гл. 16 напечатана в бесцензурном издании мемуаров 1990 года по решению уже И. И. Эренбурга).

¹⁹ *Фрезинский Б. Я.* Троцкий, Каменев, Бухарин: избранные страницы жизни, работы, судьбы. – М.: АИРО. XXI, 2015. С. 56–68.

²⁰ *Сарнов Б.* У времени в плену // *Эренбург И. Г.* Люди, годы, жизнь: в 3 т. Т. 1. – М.: Советский писатель, 1990. С. 16–17. Далее – ЛГЖ-90.

«Литературная газета», напечатав главу о Ленине; предвзяв эту публикацию, Эренбург писал: «Это глава из книги “Годы, люди, жизнь”, над которой я в настоящее время работаю». Название мемуаров изменилось позже; перестановка слов была принципиальной. Уже 4 июня 1960 года, публикуя главу об А. Н. Толстом, «Литературная газета» сообщила, что это отрывок из книги «Люди, годы, жизнь», которая целиком будет печататься в «Новом мире». Дело в том, что еще 25 апреля 1960 г. Эренбург в письме Твардовскому предложил для «Нового мира» первую книгу своих мемуаров.²¹ Заместитель Твардовского А. И. Кондратович вспоминал: «Эренбург писал, что начал большую работу над воспоминаниями, закончил уже первую книгу и видит, что нигде ее, кроме «Нового мира», он не сможет напечатать. Он просит А.Т. прочитать книгу, и если А.Т. что-то в ней не понравится, он не будет в обиде, если тот ее не примет к печати. А.Т. тотчас позвонил И.Г. и сказал, что немедленно пришлет курьера, а так как Эренбург жил недалеко от редакции, рукопись через 15 минут лежала у А.Т. на столе <...> Я не сказал бы, что А.Т. был в восторге от этих воспоминаний. Много в них раздражало его, но он сразу же почувствовал значение мемуаров – и в творческой биографии самого Эренбурга, и вообще в нашей литературе. Это убеждение со временем крепло помимо всего прочего в силу изменения политического климата. Убежденный антисталинист, первый

²¹ П2. С. 482.

возвестивший наступление “оттепели”, Эрэнбург с похолоданием становился в этом, пожалуй только в этом, но зато в каком существенном отношении все ближе А.Т.». ²²

Редакция «Нового мира», приняв рукопись в целом, категорически отказалась бороться за прохождение через цензуру главы о «врагах народа» Бухарине и Сокольникове ²³, предоставив автору самому добиваться этого. К тому времени процесс реабилитации жертв сталинского террора уже буксовал, и реабилитация наиболее выдающихся сподвижников Ленина задерживалась. В этих условиях обращаться за разрешением имело смысл лишь к Хрущеву. Суть своей просьбы к нему Эрэнбург изложил в письме 8 мая 1960 года: «В журнале “Новый мир” начинают печатать мои воспоминания. В начале я рассказываю о моем скромном участии в революционном движении в 1906–1908 годах. Там я говорю о Бухарине и Сокольникове того времени – о гимназистах и зеленых юношах. Я решаюсь послать Вам эту главу и отчеркнуть те две страницы, которые без Вашего слова не могут быть напечатаны. Особенно мне хотелось бы упомянуть о Бухарине, который был моим школьным товарищем». ²⁴ Одновременно Эрэнбург писал в сопроводительной записке референту Хрущева по вопросам культуры В. С. Лебедеву: «Из

²² Кондратович А. Новомирский дневник. 1967–1970. – М.: Собрание, 2011. С. 178.

²³ Они были реабилитированы только в самом конце 1980-х годов.

²⁴ П2. С. 482–483.

письма Никите Сергеевичу Вы увидите, в чем моя просьба. Может быть, даже не к чему показывать ему две страницы – я думаю сейчас о его времени. Может быть, Вам удастся просто спросить его в свободную минуту, могу ли я упомянуть в своих воспоминаниях восемнадцатилетнего Бухарина (это для меня наиболее существенно)».²⁵ Оба письма вручила В. С. Лебедеву секретарь Эренбурга Н. И. Столярова. Вот что она мне рассказала в 1975 году: «Лебедев прочел письмо и сказал, что у Никиты Сергеевича может быть свое мнение и он его не знает, но ему кажется, что не следует это печатать, т. к. Бухарин не реабилитирован, народ знает его как врага и вдруг прочтет, как тепло и душевно пишет о нем Илья Григорьевич, – все шишки повалятся на него. В интересах душевного спокойствия И.Г. не печатать этого сейчас. Конечно, если И.Г. будет настаивать, напечатают: ведь у нас цензуры нет, но это не в интересах И. Г. Прощаясь, Лебедев сказал, что письмо он, разумеется, передаст».²⁶ Эренбург оценил лукавство Лебедева и понял, что реабилитация Бухарина в ЦК не готовится. Ответа на свое письмо от Хрущева или его сотрудников он не получил. Сообщить Твардовскому об этом было выше его сил, и Эренбург написал, что добровольно снимает те две страницы; вместо них в журнальном тексте появились слова: «Еще не настало время рассказать о всех моих товарищах по школьной организации. Рассажу

²⁵ П2. С. 483.

²⁶ Архив автора.

сейчас о некоторых». ²⁷

Шесть глав первой книги с апреля по август 1960 г. предварительно (до «Нового мира») публиковались в газетах и журналах. Это позволяло Эренбургу заранее сообщать своим читателям, как движется работа над мемуарами и что их ожидает впереди. Он был предусмотрителен, используя такую возможность оповещения читателей о ходе написания почти всех книг «Люди, годы, жизнь» вплоть до последней, седьмой, завершить которую не успел (о ней читатели узнали в 1967 году из предварительной публикации нескольких глав; знакомства со всем написанным ее текстом им пришлось ждать долгие 20 лет после смерти автора).

«Люди, годы, жизнь» не были анонсированы в «Новом мире» на 1960 год, но публикация первой книги в 8–10 номерах вызвала широкий читательский резонанс. А. И. Кондратович свидетельствует: «Читательский успех мемуаров был огромный. Номера в киосках раскупались тотчас же. Мы получали множество писем, но и мытарств с этими мемуарами мы хватили тоже сверх головы». ²⁸ Советская критика (как ортодоксальная ее часть, так и, пользуясь современным словом, либеральная), ожидая дальнейших частей повествования, о первой книге высказаться не решилась; несколько доброжелательных рецензий появились разве лишь в провинциальной прессе. Готовя в 1961 г. первую книгу вместе

²⁷ Новый мир. 1960. № 8. С. 40.

²⁸ Кондратович А. Указ. соч. С. 179.

со второй к отдельному изданию, Эренбург внес в нее ряд дополнений и исправлений. Сразу после публикации в «Новом мире» первая книга мемуаров Эренбурга была переведена во многих странах мира. Публикация мемуаров Эренбурга широко и подчас пристрастно обсуждалась в литературных кругах страны. Характерный эпизод приводит в своем дневнике 29 сентября 1960 г. писатель А. К. Гладков, еще не знакомый тогда с Эренбургом лично: «Спор о воспоминаниях Эренбурга. Н.Я. <Мандельштам. – Б.Ф.> бранит, и Коля <Оттен. – Б.Ф.> ее поддерживает (теория “малой пользы”, компромиссы и пр.). Я и Елена Михайловна <Фрадкина. – Б.Ф.> защищаем Эренбурга. А. С. Эфрон тоже говорит, что он написал “не так” о М. Цветаевой, а Н.Я. боится, что он “не так” напишет о Мандельштаме. Нашелся в стране человек, который пишет о Цветаевой и Мандельштаме и др., и сразу на него напустились, что “не так”...»²⁹

Книга вторая

Вторая книга мемуаров «Люди, годы, жизнь» рассказывает о событиях в России с июля 1917-го до весны 1921-го, когда Эренбург отправился в Париж, чтобы написать заду-

²⁹ Гладков А. Я не признаю историю без подробностей (из дневниковых записей 1945–1973) / Предисл. и публикация Сергея Шумихина // *In memoriam*: исторический сборник памяти А. И. Добкина. – СПб. – Париж, 2000. С. 549. Подробно об отношениях к мемуарам Эренбурга А. А. Ахматовой см.: *Фрезинский Б. Я.* Об Илье Эренбурге (книги, люди, страны). – М.: НЛО, 2013. С. 545–556; далее – Ф5 и номер страницы.

манный им роман о войне и революции. Читая эту книгу, вы следуете за Эренбургом по маршруту его нелегких и часто вынужденных перемещений в трудные времена (он сегодня покажется вполне соблазнительным): Петроград – Ялта – Коктебель – Москва – Киев – Полтава – Коктебель – Феодосия – Тифлис – Москва – Рига – Париж – Брюссель. В Киеве 13 августа 1919 года Илья Эренбург женился на своей двоюродной племяннице, молоденькой художнице Любе Козинцевой, ставшей спутницей всей его жизни, о чем он с веселым изяществом написал во второй книге. В ней читатель знакомится и с главами о Брюсове и Цветаевой, Пастернаке и Маяковском, Волошине и Мандельштаме, Мейерхольде, Таирове и Дурове, о Есенине и Т. Табидзе. Повествование завершается рассказом о первом и, пожалуй, самом знаменитом романе Ильи Эренбурга «Необычайные похождения Хулио Хуренито и его учеников».³⁰

Эта книга писалась летом и осенью 1960 года. Уже напечатав первую часть мемуаров и приступив к работе над второй, Эренбург говорил Б. М. Сарнову: «С ней будет сложнее. Из нее дай бог чтобы мне удалось напечатать две трети. А треть пойдет в архив».³¹ 26 октября он сообщал Е. Г. Полонской: «Я кончил теперь вторую часть воспоминаний. Рабо-

³⁰ Этот скорее сатирический роман о войне и революции обдумывался Эренбургом начиная с 1916 г. и написан летом 1921-го в Бельгии за 28 дней; его полное название занимает страницу, напечатан он был впервые в Берлине в январе 1922 г., а в 1923-м издан в Москве с предисловием Н. И. Бухарина.

³¹ Сарнов Б. Указ. соч. С. 17.

та увлекательная, но печальная». ³² Журнальная судьба первой книги к тому времени решилась положительно, и вторую Эренбург писал, также рассчитывая на публикацию в «Новом мире».

Рассказывая о событиях Гражданской войны, об эпохе военного коммунизма, о трагической судьбе своих современников, он не мог не считаться с цензурой. Многие страницы второй части написаны суше, дипломатичнее, чем первая книга, и тем не менее вторая часть «Люди, годы, жизнь» стала для тогдашних советских читателей заметным прорывом в осмыслении отечественной истории, недаром мемуары Эренбурга в течение последующих десятилетий в СССР оказались фактически под запретом.

Неканоническое изображение трагедии Гражданской войны, в которой случай разводил родных братьев под противоборствующие знамена, рассуждения о драме Маяковского, отказавшегося от искусства ради политики, впервые приведенные воронежские стихи Мандельштама, самое имя которого было неизвестно подавляющему большинству читателей, глава о Марине Цветаевой, книга стихов которой еще только готовилась к изданию, рассказ о Пастернаке-лирике в пору политического ostracism, вызванного присуждением ему Нобелевской премии за роман, – все это не могло не стать сенсацией в СССР начала шестидесятых годов.

Глава 9 под названием «Киев» была напечатана до «Но-

³² П2. С. 490.

вого мира» – 27 октября 1960-го в «Литгазете»; глава 11 – в № 10 журнала «Советская Украина»; глава 15 о Тифлисе – в «Лит. Грузии» № 1 за 1961-й, глава 19 под названием «Воспоминания о Мейерхольде» – в № 2 журнала «Театр» за 1961-й одновременно с «Новым миром» (в архиве Эренбурга сохранились также гранки не осуществившейся предварительной публикации 6-й и 7-й глав в «Литгазете»).

Беседуя поздней осенью 1960 года с журналистами, Эренбург говорил о своей работе: «Вторая книга будет опубликована в “Новом мире”. По-моему, она слабее первой. Отдал читать Твардовскому. Он позвонил на следующий день, сказал, что понравилась. Твардовский предупредил, что формально будет трудно “пробить” то, что я пишу о Пастернаке. А по существу его пугает Маяковский».³³ Лично у Твардовского обе главы не должны были вызвать возражения – он никогда не был поклонником Маяковского, а глава о Пастернаке написана достаточно взвешенно. Возражение против этой главы высказал лишь один член редколлегии журнала – очеркист Валентин Овечкин. Прочитав верстку первого номера за 1961 год, он 5 декабря 1960 года в письме Твардовскому³⁴ высказался против похвал Пастернаку-поэту и подверг сомнению правдивость рассказа о дружбе Пастернака с Маяковским. «Замечания твои по Эренбургу будут учтены и доведены до автора, – ответил ему Твардовский. – Замеча-

³³ Архив автора.

³⁴ Текст письма В. Овечкина см.: Север. 1979. № 10. С. 120.

ний по нему можно было бы сделать и в десять раз больше, но учить Эренбурга поздно и невозможно, нужно считаться с таким, каким его бог зародил. Тем более что это – продолжение, а начало имеет успех у читателя, и все в целом имеет свою объективную ценность мемуарного свидетельства о пережитом при всем несовершенстве и порой претенциозности субъективного изложения». ³⁵

Вторая книга была принята редакцией, однако цензура (та самая, существование которой в СССР отрицал ³⁶ помощник Хрущева) категорически запретила главу о Пастернаке, и Твардовский сообщил автору, что напечатать ее не в его силах. Первый номер журнала за 1961 год (с 16 главами второй книги) вышел без главы о Пастернаке. Эренбург понимал, что запрещение не продиктовано «сверху», а объясняется инерционностью и перестраховкой аппарата ЦК, поэтому он принял решение добиваться публикации этой главы во втором номере журнала вместе с окончанием книги. Добиться этого можно было, лишь снова (после неудачи с «пробиванием» главы о молодых Бухарине и Сокольникове) обратившись к Н. С. Хрущеву. Как всегда в подобных случаях, Эренбург искал такие аргументы, которые могли убедить адресата. 19 января 1961 года он написал помощнику Хру-

³⁵ Твардовский А. Т. Письма о литературе 1930–1970. – М., 1985. С. 210.

³⁶ Хотя еще с 1922 г. цензурой руководило Главное управление по делам литературы и издательств (Главлит), а с 1947 г. по-прежнему Главлитом СССР откровенно именовалось Главное управление по охране военных и государственных тайн в печати, ликвидированное лишь в конце 1991 г.

щева В. С. Лебедеву: «Решаюсь Вас побеспокоить со следующим вопросом. В февральском номере журнала “Новый мир” печатается окончание второй части моей книги “Люди, годы, жизнь”. Одна глава из этой второй части встретила затруднения. Дело касается Пастернака. Я считаю его крупным лирическим поэтом и, вспоминая о первых годах революции, пишу о нем как о лирическом поэте. Мне кажется, что, поскольку недавно образовалась комиссия по литературному наследству Пастернака, в которую меня включили, у нас предполагается издать его избранные стихи. После всего происшедшего вокруг “Доктора Живаго” новое издание его стихов будет скорее понятным читателю, прочитавшему мою главу, посвященную Пастернаку-поэту... Публикование главы будет, по-моему, скорее политически целесообразным, нежели “преступным”. Такой же точки зрения придерживается А. Т. Твардовский и вся редакционная коллегия журнала “Новый мир”. Однако редакция не может преодолеть возникшие затруднения, и я решил попросить Вас, если найдете это возможным, спросить мнение Никиты Сергеевича Хрущева».³⁷

Об этом мнении можно судить потому, что в № 2 «Нового мира» глава о Пастернаке была напечатана (под № 20 между главами о Москве 1920 года и о В. Л. Дурове; в отдельном издании мемуаров Эренбург вернул ее в начало второй части, но главу о Маяковском его вынудили пропустить

³⁷ П2. С. 495–496.

вперед; только в издании 1990 года в соответствии с авторским замыслом глава о Пастернаке была напечатана перед главой о Маяковском). Отметим попутно, что критические слова Эренбурга о романе «Доктор Живаго» продиктованы его личным взглядом на книгу (в советской антипастернаковской вакханалии Эренбург никакого участия не принимал); при всех поворотах событий он неизменно говорил о «чудесных стихах», приложенных к роману.

Критика отреагировала на вторую книгу «Люди, годы, жизнь» не сразу. 19 мая 1961 года в газете «Литература и жизнь», которую тогда прозвали «Лижи», А. Дымшиц сделал заявку на принципиальный спор с Эренбургом от имени советского читателя, который «не согласится с той трактовкой ряда поэтов десятых и двадцатых годов, которая содержится в воспоминаниях И. Эренбурга, в его портретах М. Цветаевой, М. Волошина, О. Мандельштама, Б. Пастернака», с попыткой «реставрации модернистских представлений». Развернуто эта позиция была высказана на страницах кочетовского «Октября» в статье Дымшица «Мемуары и история». «Большинство портретов И. Эренбургу не удалось, – говорилось в этой статье. – Не удалось потому, что живые черты, яркие и интересные штрихи и детали портретов писатель “подчинил” своим предвзятым, неверным эстетическим идеям».³⁸ Дымшиц решительно оспорил портрет Маяковского, эренбурговскую концепцию драмы поэта. («Так наводится

³⁸ Октябрь. 1961. № 6. С. 194–198.

ть на ясный облик Маяковского»), портрет А. Н. Толстого – «писателя такой высокой ясности»; «ставить талантливо-го, но все же второстепенного поэта Мандельштама <сегодня над этим посмеется большинство любящих русскую поэзию XX века. – Б.Ф.> в один ряд с такими гигантами, по-моему, просто неосмотрительно», – корил он Эренбурга. Отстаивая неприкосновенность догматов «истории советской литературы», Дымшиц вел с Эренбургом спор на поле марксистской эстетики; вместе с тем он демонстрировал готовность при случае перейти на поле сугубо *политическое*. Так, в заключение статьи он отметил, что в мемуарах не объяснены причины отхода Эренбурга от большевистской партии, недостаточно точно отражена политическая позиция автора в первые годы революции – речь-де следует вести не о блужданиях, а о вполне определенной – читай антисоветской – позиции. (Угроза политических обвинений была в полной мере реализована через некоторое время мастером этого жанра критиком В. Ермиловым). Статью Дымшица горячо поддерживали обе тогдашние советские литературные газеты; его единомышленники дорабатывали конкретные сюжеты (так, В. Назаренко в длинной статье сражался с опасной оценкой Эренбургом «буржуазной поэзии» О. Мандельштама).³⁹ Других точек зрения в советской прессе не было (с позиций ортодоксальной историко-литературной концепции Эренбург был незащитим, а применение иных литературных и полити-

³⁹ Звезда. 1961. № 9. С. 195–202.

ческих критериев не позволялось). Мемуары Эренбурга тогда читали нарасхват, суждения были разные – восторженные, пристрастно-придирчивые, демагогические, апологетические и т. д., но на страницы советской печати 1961 года этот плюрализм читательских взглядов эпохи хрущевской оттепели выхода иметь не мог. Газетные материалы, несомненно, раздражали Эренбурга, но его огромная читательская почта неизменно поддерживала писателя, и он энергично продолжал работать – писать третью книгу.

В литературной среде вторая книга, как и первая, пользовалась повышенным вниманием. Особый интерес вызывали главы о гражданской войне и портретные главы о поэтах... Мы обсудим здесь краткий, неоднозначный, скорее даже критический отклик на начало второй книги мемуаров Эренбурга писателя Василия Гроссмана, перу которого принадлежит едва ли не важнейший реалистический роман, написанный в XX веке по-русски⁴⁰, – достаточное основание, чтобы не обойти молчанием его отклик.

Суждение Гроссмана содержится в письме от 1 февраля 1960 года к его ближайшему другу, тогда известному читателям только как переводчик восточных поэтов, Семену Липкину. В нем Гроссман спросил: «Читал ли ты Эренбурга, в № 1 “Н<ового>М<ира>”?» и поделился своим впечатлением: «Читается с интересом, но в 70 лет можно бы подумать поглубже, поумней, посерьезней. Зато Мафусаило-

⁴⁰ Речь, понятно, идет о романах, авторство которых не вызывает сомнений.

ва мудрость⁴¹ в понимании того, что лъзя, а чего нельзя». ⁴² Читая это язвительное замечание Гроссмана, надо помнить более позднее суждение Эренбурга: «Молодой польский писатель Федецкий как-то сказал, что я “минималист”: от людей, да и от лет требую малого <...> Очевидно “минималистами” люди становятся с годами. Однако возраст не все, и Василий Семенович оставался “максималистом” в пятьдесят лет. Нельзя понять его судьбы, не оговорив прежде всего его суровой требовательности к другим и к себе». ⁴³ Добавлю только, что приведенные слова из письма Гроссмана написаны всего за две недели до того, как сотрудники КГБ явились к нему домой и арестовали абсолютно все варианты рукописи романа «Жизнь и судьба», включая черновики, так как машинопись романа Гроссман беспечно передал журналу «Знамя», даже не допуская мысли, что оттуда по прочтении она будет прямым образом передана в КГБ. Ему не хватило не то что «мафусаиловой мудрости», а самого элементарного представления о том, как он выразился, «что лъзя, а чего нельзя», *немыслимо* напечатать в СССР 1961 года. И, не подскажи ему Липкин, что один комплект рукописи абсолютно необходимо спрятать, неизвестно вообще, какой бы

⁴¹ Мафусаил – дед Ноя, проживший 969 лет (*библ.*).

⁴² Липкин С. Жизнь и судьба Василия Гроссмана. – М.: Книга. 1990. С. 71. Полностью все письма В. Гроссмана С. Липкину с не всегда точными комментариями см.: Знамя. 2016. № 6.

⁴³ См. Т. 2 наст. изд. Кн. 5. Гл. 20.

стала судьба этой великой книги, напечатанной за границей по рукописи из тайника в 1980-м, а на родине автора – через четверть века после его смерти от рака, вызванного всем пережитым в 1961 году.

Упомянем также и высказывание рязанского учителя, через полтора года ставшего известным стране и миру писателем Солженицыным, записанное его тогдашней женой: «Что до мемуаров Эренбурга, то сначала Александр Исаевич высказывался о них очень резко: обвинял его в том, что он, мол, спорит с мертвецами и доказывает живым, будто он – честный, что он – гений, что он – очень умён. Но продолжение воспоминаний понравилось, и Солженицын писал друзьям, что Эренбург вспоминает “по-деловому” и с попыткой глубоко осмыслить Гражданскую войну. “Есть глубокие мысли, которые я нигде прежде не встречал. Интересны и многие портреты” ...»⁴⁴

Книга третья

В третьей книге мемуаров «Люди, годы, жизнь» Илья Эренбург пишет о своей жизни в Берлине с поздней осени 1921 года, а затем – с осени 1924-го в Париже. Это было время его весьма успешной работы: в то время Берлин стал центром русской эмиграции, и жизнь в Германии, потерпевшей сокрушительное военное поражение и разоренной победителями, а потому и переносившей дикую инфляцию,

⁴⁴ Решетовская Н. В споре со временем. – М.: АПН, 1975.

для русских эмигрантов, имевших средства существования в устойчивых валютах, была дешевой. В Берлине вмиг возникла масса русских издательств и изданий. Русская литература процветала. Эренбург вывез из Москвы немало своих рукописей и рукописей коллег, и одну за другой начал их печатать. Более того, будучи плодовитым и работоспособным автором, новые замыслы энергично реализовывал и сразу выпускал в свет (чаще всего в издательстве А. Г. Вишняка «Геликон»), причем некоторые его берлинские книжки (далеко не все!) пропускались в Советскую Россию, а случалось, там еще и переиздавались. Когда немецкая марка стабилизировалась, Франция как раз установила дипломатические отношения с СССР, и Эренбург с женой переехал в Париж.

Осуществление его дивного плана жить и работать на Западе, печатаясь по-русски как в Советской России, так и в Европе (разумеется, и в переводах), наталкивалось на два рода трудностей. Во-первых, на советскую цензуру, которая явно усиливалась – особенно с началом откровенного сворачивания НЭПа, когда стали прикрывать частные издательства. С конца же 1920-х годов советский цензурный пресс становится для книг Эренбурга почти непреодолимым – одни из них запрещаются на корню, другие выходят в изуродованном виде. Эренбург пытается обойти препоны, меняя темы и жанры книг, но – это не слишком ему помогает. Его ситуацию Евгений Замятин сгладил в 1931-м, прося у Сталина разрешения уехать за границу: «Илья Эренбург, оставаясь

советским писателем, давно работает главным образом для европейской литературы – для переводов на иностранные языки...»⁴⁵ То, что Замятину казалось спасительным выходом из его безнадежного положения, для Эренбурга реально было драмой, требовавшей искать из нее выход. Оставаться действительно независимым художником можно было лишь не печатаясь в СССР. Это – не первый кризис, преодоленный в жизни Эренбургом, но мучительный, и о нем писатель решил рассказать в мемуарах подробнее, чем о собственных же политических ситуациях 1909 и 1918 годов.

В декабре 1931 года живший тоже в Париже близкий друг Эренбурга О. Г. Савич сообщал в Москву их общему приятелю писателю В. Г. Лидину: «Зубы лежат на полке и стучат о полку. Рядом лежат эренбургские и тоже стучат. Стучит весь Монпарнас».⁴⁶ Эренбург вспоминал об этом не столь натуралистично: «Передышка, подаренная мне, как и всем людям моего поколения, подходила к концу. Еще не было бурь, но штиль уже казался неестественным. Друзья, приезжавшие из Советского Союза, рассказывали о раскулачивании, о трудностях, связанных с коллективизацией, о голоде на Украине. После поездок в Берлин я понял, что фашизм наступает и что его противники разъединены. <...> Возможно, что в прошлом бывали эпохи, когда художник

⁴⁵ Замятин Е. Я боюсь. Литературная критика. Публицистика. Воспоминания. – М.: Наследие, 1999. С. 172.

⁴⁶ Собрание автора.

мог отстаивать человеческое достоинство, не расставаясь ни на час с искусством. Наше время требовало от любого человека не вдохновенного костра, а повседневных жертв или отречения».⁴⁷ Весь 1931 год Эренбург искал выхода и, согласившись стать парижским корреспондентом «Известий», в 1932-м отправился по стройкам Урала и Сибири, чтобы написать *новую* книгу. Задача была нелегкая, но он ее решил и назвал роман по-библейски – «День второй». Ромен Роллан принял его сразу и горячо. В СССР он был тут же запрещен. В итоге Сталин, с рядом купюр, книгу в СССР разрешил. Так Эренбург стал советским писателем⁴⁸. Об этом, а не о ликвидации партийной оппозиции и сокрушении Сталиным противников он так написал в мемуарах: «В 1931 году я понял, что судьба солдата не судьба мечтателя и что нужно занять место в боевом порядке. Я не отказывался от того, что мне было дорого, ни от чего не отрекался, но знал: придется жить сжав зубы, научиться одной из самых трудных наук – молчанию»⁴⁹... Эти слова потом ему долго припоминали, хотя Эренбург в 1934-м и начал *новую* жизнь...

Илья Эренбург приступил к третьей книге мемуаров зимой 1961 года. 21 февраля он сообщал Е. Г. Полонской в Ленинград: «Я пишу сейчас 3 часть (1921 и далее). Работа увле-

⁴⁷ См. наст. том. Кн. 3. Гл. 30.

⁴⁸ О книге «День второй» см.: Ф5. С. 160–185; в 1991-м все купюры в издании «Дня второго» мной восстановлены.

⁴⁹ См. наст. том. Кн. 3. Гл. 30.

кает, но часто отрывают».⁵⁰ Ему удалось практически устроиться от текущей публицистической работы (за полгода написал всего две газетные статьи), но зарубежные поездки, связанные с общественно-политической деятельностью, участие в различных заседаниях – от этого уйти было невозможно; за те же полгода писатель четырежды был в Стокгольме, поскольку этот город многое значил в его личной послевоенной судьбе (в Стокгольме жила его последняя любовь – Лизлотта Мэр, и Эренбург не упускал ни одной возможности с ней повидаться, более того – он эти возможности старался множить).

Как и прежде, отдельные главы рукописи Эренбург давал на прочтение тем, кого мог считать экспертами – так, главы о Бабеле и Маркише читали их вдовы, главу о Юлиане Тувиме – его переводчик и биограф М. Живов, главу о берлинской эмиграции – Е. Лундберг, глава о Мейерхольде обсуждалась с А. К. Гладковым. На черновой рукописи – неизменные пометы ближайшего друга Эренбурга писателя Овадия Савича, неизменного читателя рукописи.

Летом 1961 года работа была завершена и передана в «Новый мир», где ее приняли вполне радушно. Предварительных отдельных публикаций третьей части практически не было. Политических купюр, сделанных по настоянию редакции, было немного, и они были восстановлены в издании 1990 года. Третья книга ушла в набор, а 12 августа 1961 го-

⁵⁰ П2. С. 498.

да А. Т. Твардовский, прочтя верстку начала третьей книги, обратился к Эренбургу с большим письмом:

«Барвиха, 12 августа 1961

Дорогой Илья Григорьевич!

Простите, что с таким запозданием отзываюсь на продолжение Вашей книги, идущей в “Новом мире”, да и отзываюсь только на первую часть продолжения, верстку которой мне прислали сюда.

С неменьшим, а местами – с еще большим интересом, чем предыдущие, прочел эти страницы. Книга очевиднейшим образом вырастает в своем идейном и художественном значении. Могут сказать, что угол зрения повествователя не всегда совпадает с иными, может быть более точными, углами (они, эти “углы”, тем более правильны, чем дольше остаются вне применения), что сектор обзора у автора сужен особым пристрастием к судьбам искусства и людей искусства, – мало ли что могут сказать. Но этой Вашей книге, может быть, суждена куда большая долговечность, чем иным “эпохальным полотнам” “чисто художественного жанра”.

Первый признак настоящей большой книги – читательское ощущение необходимости появления ее на свет божий. Эту книгу Вы не могли не написать, а если бы не написали, то поступили бы плохо. Вот что главное и решающее. Это книга долга, книга совести, мужественного осознания своих заблуждений, готовности поступиться литературным прести-

жем (порой, кажется, даже с излишком) ради более дорогих вещей на свете.

Словом, покамест Вы единственный из Вашего поколения писатель, переступивший некую запретную грань (в сущности, никто этого “запрета” не накладывал, но наша лень и трусость перед самими собой так любят ссылаться на эти “запреты”). При всех возможных, мыслимых и реальных изъянах Вашей повести прожитых лет Вам удалось сделать то, чего и пробовать не посмели другие.

Я не буду в этом письме говорить о том, что в частности, текстуально, так сказать, мне особо нравится или не нравится в книге. Но как хорош Тувим, в которого я, кстати сказать, вчитался только после его смерти и увидел, что это поэт никак не менее, скажем, Блока и, может быть, еще теплее и демократичнее Блока. Хорош В. Незвал (жаль только, что Вы заставили его восторгаться плохим, крайне несамостоятельным Л. Мартыновым, но это дело Ваше). Хорош и Бабель, хотя страницы, посвященные памяти этого писателя, не обладают особой новизной содержания – был уже похожий Бабель у Паустовского и, кажется, у Вас же.

Но дело не в отдельных портретах, характеристиках, авторских отступлениях, – в книге есть магия глубокоискреннего высказывания – исповеди. Я, как прежде, считаю свою редакторскую роль в отношении этой Вашей работы весьма ограниченной, т. е. опять же не собираюсь просить Вас вспоминать о том, чего Вы не помните, и опускать то, чего Вы

забыть не можете. Но мой долг просить Вас о другом: чтобы Вы учли реальные обстоятельства наших дней, просматривая эту верстку, и, по возможности, облегчили ее прохождение на известных этапах».⁵¹

Далее шли конкретные пожелания. Список этих замечаний Твардовский предварял словами: «Хочу Вам указать на такие места, которые, не будучи особо важными, обязательными для книги, в то же время наверняка могут повлечь на всю эту часть особо пристальное и требовательное внимание». Приведем некоторые из замечаний главного редактора журнала:

Например, такое:

«Уподобление Вами идей славянофилов, сменовеховцев, и тех и других вместе – нашим крайностям в борьбе против низкоклонства перед Западом – уподобление неверное, поверхностное. По мне – бог с Вами, переучивать Вас я не собираюсь, но перед органами, стоящими над редакцией, попросту – цензурой – я не могу Вас здесь защитить».

Или:

«Мысль о “ножницах” между успехами технического прогресса и потерями в духовном, нравственном развитии человеческого общества в эпоху империализма бесспорна, но приравнение “другого” лагеря “первому” – недопустимо. Можно, я считаю, предъявлять счет и Советской власти по

⁵¹ ПЗ. С. 464–467.

разным статьям, но на отдельном бланке, – это непеременимое условие».

Или:

«В двух-трех случаях, где возникает память “еврейской крови”, – очень, очень просил бы Вас уточнить адрес, куда обращен этот исторический упрек (в смысле опять же “отдельного бланка”)»⁵²...

Третья книга была напечатана в 9–11 номерах «Нового мира» за 1961 год (к тому времени издательство «Советский писатель» выпустило отдельным изданием первую и вторую части мемуаров). Большой критической волны третья книга не вызвала. Вообще из всех семи частей «Люди, годы, жизнь» третья имела самую легкую издательскую судьбу. В ней наибольшим нападкам подверглась глава о Ремизове; в специально посвященной ей статье «Неудавшееся воскрешение», напечатанной в журнале «Дон»⁵³, утверждалось, что воспоминания Эренбурга приводят фактически к «оправданию ренегатства А. Ремизова», книги которого «заслуженно забыты народом» (до издания книг А. М. Ремизова в СССР оставалось еще почти 20 лет)...

В читательской почте «Нового мира», хранящейся в Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ), сегодняшний исследователь найдет немало инте-

⁵² Почта Ильи Эренбурга. 1916–1967 / Изд. подгот. Б. Я. Фрезинским. – М.: Аграф, 2006. С. 464–466.

⁵³ Усенко Л. Неудавшееся воскрешение // Дон. 1962. № 6. С. 145–154.

ресных документов эпохи, отражающих тогдашний политический и интеллектуальный уровень общества. «Новый мир» имел устойчивую репутацию журнала оппозиционного. С середины 1960-х годов постепенно начали формироваться два крыла этой оппозиции: либеральное и национал-патриотическое. Читатели «Нового мира» в большинстве своем принадлежали к либеральному крылу; именно идеями «социализма с человеческим лицом» так или иначе проникнуто множество читательских писем (сужу только по той, достаточно обширной, почте, которую в 1960–1967 годах порождали эренбургские мемуары) – при всем разбросе в остроте, точности, глубине и основательности высказываемых суждений. Процент критической почты «с другого берега» был незначительным, и редакция решительно возражала их авторам.⁵⁴

Политической буре вокруг мемуаров «Люди, годы, жизнь» разразиться еще только предстояло.

Борис Фрезинский

⁵⁴ См. одно из таких откровенно антисемитских писем 1961 года о третьей книге мемуаров Эренбурга, а также информацию о его авторе и резкий ответ ей А. И. Кондратовича: *Ф5*. С. 362–368.

Книга первая

1

Давно мне хочется написать о некоторых людях, которых я встретил в жизни, о некоторых событиях, участником или свидетелем которых был; но не раз я откладывал работу: то мешали обстоятельства, то брало сомнение – удастся ли мне воссоздать образ человека, картину, с годами потускневшую, стоит ли довериться своей памяти. Теперь я все же сел за эту книгу – откладывать дольше нельзя.

Тридцать пять лет назад в одном из путевых очерков я писал: «Этим летом, в Абрамцеве, я глядел на клены сада и на покойные кресла. Вот у Аксакова было время, чтобы подумать обо всем. Его переписка с Гоголем – это неторопливая опись души и эпохи. Что оставим мы после себя? Расписки. “Получил сто рублей” (прописью). Нет у нас ни кленов, ни кресел, а отдыхаем мы от опустошающей суеты редакций и передних в купе вагона или на палубе. В этом, вероятно, своя правда. Время обзавелось теперь быстроходной машиной. А автомобилю нельзя крикнуть: “Остановись, я хочу разглядеть тебя поподробнее!” Можно только сказать про беглый свет его огней. Можно, – и это тоже исход, – очутиться под его колесами».

Многие из моих сверстников оказались под колесами времени. Я выжил – не потому, что был сильнее или прозорливее, а потому, что бывают времена, когда судьба человека напоминает не разыгранную по всем правилам шахматную партию, но лотерею.

Я был прав, сказав очень давно, что наша эпоха оставит мало живых показаний: редко кто вел дневник, письма были короткими, деловыми – «жив, здоров»; мало и мемуарной литературы. Есть на то много причин. Остановлюсь на одной, которая, может быть, не всеми осознана: мы слишком часто бывали в размолвке с нашим прошлым, чтобы о нем хорошенько подумать. За полвека множество раз менялись оценки и людей и событий; фразы обрывались на полуслове; мысли и чувства невольно поддавались влиянию обстоятельств. Путь шел по целине; люди падали с обрывов, скользили, цеплялись за колючие сучья мертвого леса. Забывчивость порой диктовалась инстинктом самосохранения: нельзя было идти дальше с памятью о прошлом, она вязала ноги. Ребенком я слышал поговорку: «Тому тяжело, кто помнит все» – и потом убедился, что век был слишком трудным для того, чтобы волочить груз воспоминаний. Даже такие потрясшие народы события, как две мировых войны, быстро становились историей. Издатели во всех странах теперь говорят: «Книги о войне не идут...» Одни уже не помнят, другие не хотят узнать о минувшем. Все смотрят вперед; это, конечно, хорошо; но древние римляне не зря обожествляли

Януса. У Януса было два лица, не потому, что он был двуличным, как часто говорят, нет, он был мудрым: одно его лицо было обращено к прошлому, другое – к будущему. Храм Януса закрывали только в годы мира, а за тысячу лет это случилось всего девять раз – мир в Риме был редчайшим событием. Мое поколение не походило на римлян, но мы тоже можем пересчитать на пальцах более или менее спокойные годы. Однако, в отличие от римлян, мы, кажется, считаем, что о прошлом следует думать только в эпоху глубокого мира...

Когда очевидцы молчат, рождаются легенды. Мы иногда говорим «штурмовать бастилии», хотя Бастилию никто не штурмовал – 14 июля 1789 года было одним из эпизодов Французской революции; парижане легко проникли в тюрьму, где оказалось очень мало заключенных. Однако именно взятие Бастилии стало национальным праздником Республики.

Образы писателей, дошедшие до последующих поколений, условны, а порой находятся в прямом противоречии с действительностью. До недавнего времени Стендаль казался читателям эгоистом, то есть человеком, поглощенным своими собственными переживаниями, хотя он был общительным и эгоизм ненавидел. Принято считать, что Тургенев любил Францию, ведь он там провел много времени, дружил с Флобером; на самом деле он не понимал и недолго любил французов. Одни считают Золя человеком, познавшим раз-

личные соблазны, – автором «Нана»; другие, вспоминая его роль в защите Дрейфуса, видят в нем общественного деятеля, страстного трибуна; а тучный семьянин был на редкость целомудренным и, за исключением последних лет своей жизни, далеким от гражданских бурь, потрясавших Францию.

Проезжая по улице Горького, я вижу бронзового человека, очень заносчивого, и всякий раз искренне удивляюсь, что это памятник Маяковскому, настолько статуя не похожа на человека, которого я знал.

Прежде легендарные образы складывались десятилетиями, порой веками; теперь не только самолеты быстро пересекают океаны, люди мгновенно отрываются от земли и забывают о пестроте, о сложности ее рельефа. Иногда мне кажется, что некоторое потускнение литературы, которое во второй половине нашего века замечается почти повсеместно, связано с быстротой превращения вчерашнего дня в условность. Писатель очень редко изображает действительно существующих людей – такого-то Иванова, Дюрана или Смита; герои романа – сплав, в который входят и множество встреченных писателем людей, и его собственный душевный опыт, и его понимание мира. Может быть, история – романист? Может быть, живые люди для нее прототипы, и она, переплавляя их, пишет романы – хорошие или плохие?..

Все знают, насколько разноречивы рассказы очевидцев о том или ином событии. В конечном счете, как бы ни бы-

ли добросовестны свидетели, в большинстве случаев судьи должны положиться на свою собственную прозорливость. Мемуаристы, утверждая, что они беспристрастно описывают эпоху, почти всегда описывают самих себя. Если бы мы поверили в образ Стендаля, созданный его ближайшим другом Мериме, мы никогда бы не поняли, как мог светский человек, остроумный и эгоцентричный, описать большие человеческие страсти, – к счастью, Стендаль оставил дневники. Политическая буря, разразившаяся в Париже 15 мая 1848 года, описана Гюго, Герценом и Тургеневым; когда я читаю их записи, мне кажется, что речь идет о различных событиях.

Иногда разноречивость показаний диктуется несходством мыслей, чувствований, иногда она связана с самой обычной забывчивостью. Десять лет спустя после смерти Чехова люди, хорошо знавшие Антона Павловича, спорили, какие у него были глаза – карие, серые или голубые.

Память сохраняет одно, опускает другое. Я помню в деталях некоторые картины моего детства, отрочества, отнюдь не самые существенные; помню одних людей и начисто забыл других. Память похожа на фары машины, которые освещают ночью то дерево, то сторожку, то человека. Люди (особенно писатели), рассказывающие стройно и подробно свою жизнь, обычно заполняют пробелы догадками; трудно отличить, где кончаются подлинные воспоминания, где начинается роман.

Я не собираюсь связно рассказать о прошлом – мне претит мешать бывшее в действительности с вымыслом; при-

том я написал много романов, в которых личные воспоминания были материалом для различных домыслов. Я буду рассказывать об отдельных людях, о различных годах, перемежая запомнившееся моими мыслями о прошлом. Видимо, это будет, скорее, книга о себе, чем об эпохе. Конечно, я расскажу о многих людях, которых знал, – о политических деятелях, о писателях, о художниках, о мечтателях, об авантюристах; имена некоторых из них известны всем; но я не беспристрастный летописец, и это будут только попытки портретов. Да и события, большие или незначительные, я попытаюсь описать не в их исторической последовательности, а в их связи с моей маленькой судьбой, с моими сегодняшними мыслями.

Я никогда не вел дневников. Жизнь была, скорее, беспоконной, и мне не удалось сохранить письма друзей – сотни писем пришлось сжечь, когда фашисты оккупировали Париж; да и потом письма, скорее, уничтожались, чем хранились. В 1936 году я написал роман «Книга для взрослых»; он отличается от других моих романов тем, что в него вставлены главы мемуарного характера. Кое-что я возьму из этой давней книги.

Некоторые главы я считаю преждевременным печатать, поскольку в них речь идет о живых людях или о событиях, которые еще не стали достоянием истории; постараюсь ничего сознательно не исказить – забыть про ремесло романиста.

Камень всегда холоден, по своей природе он отличен от

человеческого тела, но с древнейших времен скульпторы брали мрамор, гранит или же металл – бронзу – для изображения человека. Только когда перед ними вставали декоративные замыслы, они прибегали к дереву, хотя, конечно, дерево куда ближе к плоти. Камень прельщал потому, что он труден для работы, притом он долговечен. В различных музеях стоят вереницы каменных статуй; многие из них прекрасны, все они холодны. Но порой статуя теплеет, оживает от глаз посетителя музея. Мне хотелось бы любящими глазами оживить несколько окаменелостей былого; да и приблизить себя к читателю: любая книга – исповедь, а книга воспоминаний – это исповедь без попыток прикрыть себя тенями вымышленных героев.

Я родился в Киеве 14 января 1891 года. 1891-й – эта цифра хорошо памятна русским людям да еще французским виноделам. В России был голод; двадцать девять губерний поразил недород. Лев Толстой, Чехов, Короленко пытались помочь голодающим, собирали деньги, устраивали столовые; все это было каплей в море, и много спустя девяносто первый называли «голодным годом». Французские виноделы разбогатели на вине того года: засуха сжигает хлеба и повышает качество винограда; черные даты для крестьян Поволжья неизменно совпадают с радостными датами для бургундских и гасконских виноделов; еще в двадцатых годах нашего века знатоки разыскивали вина, помеченные цифрой «1891». В 1943 году из Ленинграда вывезли в Москву по «ледяной дороге» вагон со старым «Сент-Эмилион» 1891 года. Самтрест попросил А. Н. Толстого и меня проверить качество спасенного вина. В бутылках оказалась кисловатая водица – вино умерло (вопреки распространенной легенде, вино, даже самое лучшее, умирает в возрасте сорока-пятидесяти лет).

1891 год... Какой далекой кажется теперь эта дата! Россией правил Александр III. На троне Великобритании сидела императрица Виктория, хорошо помнившая осаду Севастополя, речи Гладстона, усмирение Индии. В Вене благополучно царствовал Франц-Иосиф, взойшедший на престол в па-

мятном 1848 году. Еще жили герои драм и фарсов прошлого столетия – Бисмарк, генерал Галифе, известный дипломат царской России Игнатьев, маршал Мак-Магон, Фогт, известный нашим студентам благодаря памфлету Карла Маркса. Еще жил Энгельс. Еще работали Пастер и Сеченов, Мопассан и Верлен, Чайковский и Верди, Ибсен и Уитмен, Нобель и Луиза Мишель. В 1891 году умерли Рембо и Гончаров.

Если представить себе сейчас 1891 год, мир внешне настолько изменился, что кажется, прошла не одна человеческая жизнь, а несколько столетий. Париж обходился без световых реклам и без автомобилей. О Москве говорили «большая деревня». В Германии доживали свой век романтики, влюбленные в липы и в Шуберта. Америка была далеко, за тридевять земель.

Не было еще на свете ни Жолио-Кюри, ни Ферми, ни Маяковского, ни Брехта, ни Элюара. Гитлеру было два года. Мир казался успокоившимся: никто не воевал; Италия только присматривалась к Эфиопии, Франция готовилась захватить Мадагаскар. Газеты рассуждали о визите французского флота в Кронштадт: очевидно, Тройственному союзу будет противопоставлен франко-русский союз; любители потолковать о высокой политике говорили, что «мир спасет европейское равновесие».

Россия была еще неподвижной, Александр III, разгромив «Народную волю», несколько успокоился. Правда, первого

мая в Петербурге была маленькая маевка. Правда, в Самаре Ленин читал Маркса. Но могло ли это смутить всемогущего царя? Он преспокойно приложил руку к козырьку, когда во время визита французских кораблей оркестр исполнил «Марсельезу». Он удовлетворенно говорил: вот уже заложена Великая сибирская магистраль, скоро можно будет в поезде доехать из Иркутска до Москвы...

Первое мая было внове. В рабочем поселке Фурми на севере Франции в 1891 году полиция расстреляла первомайскую демонстрацию. Газеты писали: «Зловещие тени коммунаров оживают».

В Германии был торжественно учрежден «Пангерманский союз». Там много говорили о жизненном пространстве, о миссии Германии, о грядущих походах, и отцы будущих эсэсовцев кричали «гох».

Жорес писал, что победят не палачи Фурми, а рабочие, интернационалисты, защитники прав человека.

Нет, уж не так далек 1891 год: заваривалась та каша, которую наше поколение долго, старательно расхлебывало. Жизнь каждого человека извилиста и сложна, но, когда глядишь на нее с высоты, видишь, что есть в ней своя скрытая прямая линия. Люди, которые родились в тишайшем 1891 году, когда был голод в России и замечательное вино во Франции, должны были увидеть много революций, много войн, Октябрь, спутники Земли, Верден, Сталинград, Освенцим, Хиросиму, Эйнштейна, Пикассо, Чаплина.

Четырнадцатого января 1891 года, в тот самый день, когда в Киеве на крутой Институтской улице, идущей от Крещатика вверх к Липкам, мне суждено было увидеть свет, Антон Павлович писал своей сестре из Петербурга: «Меня окружает густая атмосфера злого чувства, крайне неопределенного и для меня непонятного. Меня кормят обедами и поют мне пошлые дифирамбы и в то же время готовы меня съесть. За что? Черт их знает. Если бы я застрелился, то доставил бы этим большое удовольствие девяти десятым своих друзей и почитателей. И как мелко выражают свое мелкое чувство! Буренин ругает меня в фельетоне, хотя нигде не принято ругать в газетах своих же сотрудников...» Вот что говорил Буренин о Чехове: «Подобные средние таланты разучаются прямо смотреть на окружающую их жизнь и бегут, куда глаза глядят...» Антон Павлович в январе 1891 года начал писать повесть «Дуэль». Я часто перечитываю Чехова и вот недавно снова перечитал «Дуэль». Конечно, на ней есть печать времени. Герой Лаевский, томясь в захолустье, мечтает, как он вернется в Петербург: «Пассажиры в поезде говорят о торговле, новых певцах, о франко-русских симпатиях; всюду чувствуется живая, культурная, интеллигентная, бодрая жизнь...» Но о франко-русском сближении или о развитии торговли я знаю и без «Дуэли». Перечитывая повесть, я задумался о другом – о своей жизни.

Лаевский – слабый человек, запутавшийся и доведенный до отчаяния: «Он столкнул с неба свою тусклую звезду, она

закатилась, и след ее смешался с ночною тьмой; она уже не вернется на небо, потому что жизнь дается только один раз и не повторяется. Если бы можно было вернуть прошлые дни и годы, он ложь в них заменил бы правдой, праздность – трудом, скуку – радостью...» Свихнувшегося Лаевского обличает фон Корен, человек точных знаний и очень неточной совести. «Так как он неисправим, то обезвредить его можно только одним способом... В интересах человечества и в своих собственных интересах такие люди должны быть уничтожаемы. Непременно... Я не настаиваю на смертной казни. Если доказано, что она вредна, то придумайте что-нибудь другое. Уничтожить Лаевского нельзя, ну так изолируйте его, обезличьте, отдайте в общественные работы... А если горд, станет противиться – в кандалы!.. Мы должны сами позаботиться об уничтожении хилых и негодных, иначе, когда Лаевские размножатся, цивилизация погибнет». А вот что думает о беспощадном стороннике прогресса и естественного отбора бедняга Лаевский: «И идеалы у него деспотические. Обыкновенные смертные, если работают на общую пользу, то имеют в виду своего ближнего: меня, тебя, одним словом, человека. Для фон Корена же люди – щенки и ничтожества, слишком мелкие для того, чтобы быть целью его жизни. Он работает, пойдет в экспедицию и свернет себе там шею не во имя любви к ближнему, а во имя таких абстрактов, как человечество, будущие поколения, идеальная порода людей... А что такое человеческая порода? Иллюзия, мираж... Дес-

поты всегда были иллюзионистами».

В конце повести Лаевский, а с ним вместе Чехов думают, глядя на разбушевавшееся море: «Лодку бросает назад, делает она два шага вперед и шаг назад, но гребцы упрямы, машут неумоимо веслами и не боятся высоких волн. Лодка идет все вперед и вперед, вот уже ее и не видно, а пройдет с полчаса, и гребцы уже увидят пароходные огни, а через час будут уже у пароходного трапа. Так и в жизни... В поисках за правдой люди делают два шага вперед, шаг назад. Страдания, ошибки и скука жизни бросают их назад, но жажда правды и упрямая воля гонят вперед и вперед. И кто знает? Может быть, доплывут до настоящей правды».

«Дуэль» Чехов, как я уже говорил, начал писать в январе 1891 года. Оглядываясь на свою жизнь, я вижу, что есть связь между моими мыслями, надеждами, сомнениями и тем, что волновало Антона Павловича, когда меня еще не было на свете. Я в жизни встречал много фон Коренов, я часто блуждал, ошибался и, как Лаевский, горевал о тусклой звезде, которую столкнул с неба, и, как тот же Лаевский, восхищался гребцами, борющимися с высокими волнами. Теперь далекие континенты сделались пригородом. Луна и та стала как-то ближе. Но прошлое от этого не потеряло своей силы, и если человек за одну жизнь много раз меняет свою кожу, почти как костюмы, то сердца он все же не меняет — сердце одно.

Говорят, что яблоко падает неподалеку от яблони. Бывает так, бывает и наоборот. Я жил в эпоху, когда о человеке часто сулили по анкете; в газетах писали, что «сын не отвечает за отца», но порой приходилось отвечать и за дедушку.

Вряд ли и о деде можно судить по внукам. Несколько лет назад я прочитал в газете «Монд» статью о внуках и правнуках Л. Н. Толстого; их около восьмидесяти, и разбрелись они по всему свету: один – офицер американской армии, другой – итальянский тенор, третий – агент французской авиационной компании.

Поэт Фет, Афанасий Афанасьевич Шеншин, кроме хороших стихов, писал нехорошие статьи в журнале Каткова. Он обличал нигилистов и евреев, в которых видел первопричину зла. Племянник Фета, Н. П. Пузин, рассказывал мне, что поэт узнал из письма – завещания своей покойной матери, – что его отцом был гамбургский еврей. Мне рассказывали, будто Фет завещал похоронить письмо вместе с ним, – видимо, хотел скрыть от потомства правду о своей яблоне. После революции кто-кто вскрыл гроб и нашел письмо.

Иван Сергеевич Тургенев вспоминал: «Я родился и вырос в атмосфере, где царили подзатыльники, пинки, колодушки, пощечины и пр., но, по правде сказать, окружающая меня обстановка не привила мне вкуса к кулачной расправе.

Я никогда никого не бил». Тургенев сделал из своей дочки Пелагеи Полину, выдал ее замуж за владельца стеклянной фабрики г-на Гастона Брюэра и написал Анненкову: «Хлопот было пропасть, но я вознагражден, вполне убежден тем, что дочь моя будет счастлива». (Вслед за этим Иван Сергеевич начал писать «Дым», в котором показывал страдания замужней женщины).

О моих родителях я вспоминаю с любовью; но, оглядываясь назад, я вижу, как далеко откатилось яблоко от яблони.

Я родился в буржуазной еврейской семье. Мать моя дорожила многими традициями: она выросла в религиозной семье, где боялись и бога, которого нельзя было называть по имени, и тех «богов», которым следовало приносить обильные жертвоприношения, чтобы они не потребовали кровавых жертв. Она никогда не забывала, ни о Судном дне на небе, ни о погромах на земле. Отец мой принадлежал к первому поколению русских евреев, попытавшихся вырваться из гетто. Дед его проклял за то, что он пошел учиться в русскую школу. Впрочем, у деда был вообще крутой нрав, и он проклинал по очереди всех детей; к старости, однако, понял, что время против него, и с проклятыми помирился.

Если предположить, что яблоней был дед, то и от этой яблони яблоки разлетелись в самые разные стороны. Один из моих дядюшек разбогател; звали его Лазарем Григорьевичем, и жил он в Харькове. Его сын, мой двоюродный брат, Илья, стал социал-демократом, долго просидел в Лукьянов-

ской тюрьме, эмигрировал в Париж, там занялся живописью, а во время гражданской войны пошел в Красную Армию и был убит белыми. Брат Лазаря, Борис Григорьевич, жил в Иркутске, служил на каком-то предприятии, принадлежавшем киевскому богачу Бродскому. Борис Григорьевич был человеком легкомысленным, он растратил деньги Бродского и удрал в Америку, написав хозяину письмо скорее вызывающее, нежели виноватое. Бродский рассердился и напечатал в газетах объявление, что уплатит вознаграждение тому, кто поможет разыскать растратчика. Я тогда жил в Париже, и ко мне несколько раз обращались люди, мечтавшие разбогатеть на следе беглого Эренбурга. Как-то Лазарь Григорьевич играл с Бродским в карты, выиграл крупную сумму и вместо денег потребовал, чтобы Бродский отказался от претензий к своему иркутскому служащему. Младший из дядюшек, Лев, писал стихи и содержал бродячий цирк. Если отнести теорию В. Шкловского о том, что наследниками являются не сыновья, а племянники, не к литературным жанрам, а к людям, то я могу сказать, что пошел по пути моего дядюшки Льва. Помню книгу, которую он сам издал, называлась она неоригинально – «Мечты и звуки»; в ней были и собственные стихи, и переводы Гейне. Я в ту пору не чувствовал никакого влечения к поэзии, но дядя Лева мне нравился тем, что не походил на приличного родственника. Раз он стал показывать мне фотографии полуголых девушек – набирал актеров для цирка; моя мать возмутилась: как можно раз-

вращать ребенка? Однажды в Харькове появились плакаты «Цирк Эренбурга», и Лазарю Григорьевичу пришлось дать своему брату отступные, чтобы цирк тотчас покинул город.

Когда мне было пять лет, мои родители переехали из Киева в Москву. Хамовнический пивоваренный завод номинально принадлежал акционерному обществу, а фактически тому же киевскому Бродскому, и мой отец получил место директора завода.

Это было в 1896 году, а в 1903 году Бродский решил прогнать отца. Мать, сглатывая слезы, слушала у закрытой двери кабинета, где происходило годовичное собрание правления, как отец настойчиво просил освободить его от должности. Я тоже слушал и ничего не понимал – знал, что отца прогоняют, что дела теперь плохи, что Бродский упрям, и вдруг услышал, как отец уверял, что он больше не может работать на заводе. Это был первый урок дипломатии...

Днем отец работал, вечером редко бывал дома. Иногда к нему приходили приятели, помню одного – веселого инженера Лихачева. Как-то в кабинете отца я увидел книжку Гиляровского с надписью «Дорогому Гри Гри на память о многом». Мне показалось, что у отца интересная жизнь, в которую он меня не посвящает. Он уезжал в «Охотничий клуб», и это название мне представлялось таинственным: егеря, олени, борзые. Потом я понял, что в клубе играют в винт, и усомнился в том, что жизнь отца интересна. Мне было лет десять, когда он повел меня в ресторан на Неглинной; мы си-

дели в отдельном кабинете, но я то и дело убегал – смотрел, что происходит в зале; там сидели обыкновенные люди и жевали котлеты. Жизнь отца перестала меня интриговать.

Мать была доброй, болезненной, суеверной; она страдала легкими, куталась, редко выезжала из дому, возилась с сестрами, со мной, писала по-еврейски длинные письма многочисленной родне. В Судный день она постилась. Меня пугала большая свеча, которую мать зажигала с утра в годовщину смерти своей свекрови. В спальней всегда пахло лекарствами; часто приходили врачи. Мать хотела, чтобы они выслушали и меня – у меня были слабые легкие, но я прятался, убегал. Иногда к матери приезжала пышная дама Фамилиант со своими сыновьями Петей и Мишей; они чинно ели пирожные и по просьбе взрослых декламировали стихи Пушкина. Я их считал дураками, а мать говорила: «Вот погляди, Петя и Миша – хорошие дети. А ты?..»

Меня избаловали, и, кажется, только случайно я не стал малолетним преступником. Мне было девять лет, когда мать уехала лечиться в Эмс, а меня и сестер отправила в Киев к своему отцу.

Дед по матери был благочестивым стариком с окладистой серебряной бородой. В его доме строго соблюдались все религиозные правила. В субботу нужно было отдыхать, и этот отдых не позволял взрослым курить, а детям проказничать. (Еврейская суббота столь же уныла, как английское пуританское воскресенье). В доме деда мне было всегда скучно, и

я пакостил, как мог. В то лето мы жили на даче в Боярке. Я изводил всех; как-то меня решили наказать – заперли в чулан, где держали уголь. Я разделся догола и начал кататься по полу. Когда дверь открыли, кухарка в ужасе крикнула: «Ой же черт!..» Я решил отомстить, ночью принес бутылку керосина и попробовал поджечь дачу.

На следующее лето мать взяла меня с собой в Эмс. Я изводил курортников: передразнивал дряхлого графа Орлова-Давыдова, звал его «Шамом», потому что он все время шамкал; мешал англичанке заниматься рыбной ловлей – камешками отгонял рыбу; уносил букеты незабудок, которые немцы клали у памятника «старому кайзеру». Курортные власти попросили мать уехать, если она не в силах меня угомонить.

Я блестяще выдержал экзамены в подготовительный класс, потом в первый: знал, что существует «процентная норма» и что меня примут только в том случае, если у меня будут одни пятерки. Я решил задачу, не сделал ни одной ошибки в диктанте и с чувством продекламировал «Поздняя осень. Грачи улетели...».

Один приятель рассказывал мне – это было в начале тридцатых годов, – как его маленький сын, вернувшись из школы, куда только поступил, спросил отца: «Что такое евреи?» – «Я еврей, – ответил отец, – мама еврейка». Это было настолько неожиданно, что малыш не поверил: «Вы я-еврей?» Мы были лучше подготовлены; в восемь лет я хорошо знал, что есть

черта оседлости, право жительства, процентная норма и погромы.

Рос я в Москве, играл с русскими детьми. Когда родители хотели что-либо скрыть от меня, они говорили друг с другом по-еврейски. Никакому богу – ни еврейскому, ни русскому – я не молился. Слово «еврей» я воспринимал по-особому: я принадлежу к тем, кого положено обижать; это казалось мне несправедливым и в то же время естественным. Отец мой, будучи неверующим, порицал евреев, которые для облегчения своей участи принимали православие, и я с малых лет понял, что нельзя стыдиться своего происхождения. Я где-то прочитал, что евреи распяли Христа; дядя Лева говорил, что Христос был евреем; няня Вера Платоновна мне рассказывала, что Христос поучал: когда тебя бьют по одной щеке, подставляй другую. Мне это было не по душе. Когда я пришел впервые в гимназию, какой-то пригостишка начал петь: «Сидит жидок на лавочке, посадим жида на булавочку». Не задумываясь, я ударил его по лицу. Вскоре мы с ним подружились. Никто больше меня не обижал.

В классе нас было три еврея – Зельдович, Цукерман и я; никогда мы не чувствовали себя чужаками. Вот только товарищи нам завидовали, когда во время уроков закона божьего мы шлялись по двору...

Мне не привелось в Москве моего детства и отрочества столкнуться с юдофобством. Наверно, среди преподавателей или родителей моих товарищей были люди, зараженные ра-

совыми предрассудками, но они не выдавали себя: антисемитизма в те времена интеллигенты стыдились, как дурной болезни. Помню рассказы о кишиневском погроме – мне было двенадцать лет; я понимал, что произошло нечто ужасное, но я знал, что повинны в этом царь, губернатор, городовые, знал, что все порядочные люди против самодержавия, что Толстой, Чехов, Короленко возмущены погромом. Когда я приезжал в Киев, я слышал, что «Киевлянин» призывает к расправам, что на Подоле неспокойно, что существует «проклятый еврейский вопрос».

Странное было время: множество мерзости и множество иллюзий! Судьба одного невинно осужденного французского офицера, Дрейфуса, взволновала лучших людей Европы... «Если у тебя не будет высшего образования, ты не сможешь жить в Москве», – говорил мне отец, глядя на двойки в балльнике. Я усмехался: до того, как я кончу гимназию, все на свете переменится! Мне казалось, что антисемитские статьи в «Киевлянине» или в «Московских ведомостях» – последние отголоски средневекового изуверства; менее всего я мог себе представить, что в книге о прожитой жизни мне придется посвятить столько горьких страниц тому вопросу, который в начале века мне казался пережитком, обреченным на смерть.

А отец возмущался двойками. Первые два года я учился хорошо, потом мне надоело решать задачи с бассейнами. Я тихонько выносил из дома сочинения классиков в рос-

кошных переплетах, сбывал их букинистам на Волхонке, а на вырученные деньги в магазине «Новые изобретения», помещавшемся в Столешниковом переулке, покупал чихательный порошок, чесательную пудру, коробочки, из которых выскакивали резиновые мыши или змеи, шутихи, — изводил ими в гимназии учителей.

Еще до поступления в подготовительный класс я декламировал «Демона». Слава поэта меня не соблазняла, я хотел стать не Лермонтовым, а Демоном и кружить над Хамовниками; называл себя «духом изгнания», разумеется, не понимая, что это значит. Вскоре стихи мне надоели, я увлекся химией, ботаникой, зоологией, сидел над микроскопом, производил опыты с вонючими порошками, завел лягушек, ящериц, тритонов. Как-то гады разбежались по всей квартире; неизвестно откуда шло зловоние — это главный тритон сдох под шкафом матери.

Наслушавшись разговоров о героизме буров, я сначала написал письмо бородатому президенту Крюгеру, а потом, стащив у матери десять рублей, отправился на театр военных действий. Ночью меня поймали, и я не любил вспоминать о злополучном начинании.

Смена календарных дат всегда волнует, и вот менялась цифра не года, а столетия. (В действительности девятнадцатый век прожил больше положенного — он начался в 1789 году и кончился в 1914—м). Все говорили о «конце века», загадывали, каким будет новый. Помню встречу 1901 года.

К нам приехали ряженные в масках. Один был в костюме китайца, я узнал в нем весельчака инженера Гиляя, его схватил за косу. Ряженные изображали страны Европы, венгерец танцевал чардаш, испанка щелкала кастаньетами, и все кружились вокруг китайца – в Пекине в ту зиму шли бои. Все также пили «за новый век»; не думаю, чтобы кто-нибудь из них догадывался, каким будет этот век и за что именно они пьют среди сугробов Москвы.

Я был тогда учеником второго параллельного класса Первой гимназии. Помню, что я организовал небольшую группу «боксеров» – так называли восставших китайцев. Мы дрались ремнями и пускали в ход медные пряжки, хотя джентльменское соглашение этого не допускало: начинался двадцатый век.

Я совсем отбился от рук: мои проделки становились несносными. Отца дома не бывало, а мать и сестры не могли со мной справиться; на подмогу они звали дворника, моего тезку Илью, который топил у нас печи. Раз я бросился на Илью с ножиком, он меня побаивался.

Но вот нашлась и на меня управа в лице студента-юриста Михаила Яковлевича Имханицкого. Все удивлялись, почему я его слушаюсь, ведь он меня никогда не наказывал. Михаила Яковлевича поселили у нас в доме. Я при нем готовил уроки, и, когда я правильно решал задачу на проценты, он мне давал тянучки – я был сластоной. Бумажки я кидал на пол; он иногда спрашивал: «А где бумажки?» Я глядел на

пол, бумажек не было. Михаил Яковлевич посмеивался. Никому я не рассказывал о таинственных тянучках. Я боялся глаз Михаила Яковлевича; когда он глядел на меня, я быстро отворачивался. Родители считали, что он превосходный педагог.

Летом на даче в Сокольниках у нас гостила подруга одной из моих сестер – Леля Головинская. Она приглянулась Михаилу Яковлевичу. Тогда в моде были разговоры о гипнотизме. Студент объявил, что умеет гипнотизировать; он усыпил Лелю и сказал ей, что она должна через три дня поздно вечером приехать к нему на дачу. Домашние негодовали. Михаил Яковлевич спокойно уложил свои вещи в чемодан и рассказал, что он меня гипнотизировал, обеспечив этим общее спокойствие в течение полутора лет.

Меня повезли к профессору Рыбакову – кто-кто сказал матери, что я могу навсегда лишиться воли. Несколько лет спустя, увидав на Пречистенском бульваре Михаила Яковлевича, я бросился от него бегом. Прошли годы. В 1917 году, возвращаясь из Парижа на родину, в Стокгольме, в русском консульстве, я увидел толстого, низкорослого человека, который сказал мне: «Не узнаете? Имханицкий». Я удивился: у него были самые обыкновенные, даже маловыразительные глаза.

Но о вымышленных тянучках я часто вспоминал. Думаю, что потом не раз меня заставляли решать трудные задачи и платили мне за это тянучками, которых в действительности

не было. Только потом никто не поил меня соленым бромом и никто не боялся, что я потеряю волю. Воля, пожалуй, стала обременительным свойством.

Дома мне было скучно. Приходили гости, говорили, что у сестер Кристман удивительная колоратура, что адвокат Лабори произнес потрясающую речь в защиту невинного Дрейфуса, что в Москве открылся ресторан с отдельными кабинетами в мавританском стиле, что некая мадам Мальбранш привезла из Парижа новые модели шляп. Говорили также о премьере комедии Зудермана, об открытии Художественного общедоступного театра, о погромах, о письме Толстого, о красноречии адвоката Плевако, который может добиться оправдания самого жестокого убийцы, о фельетонах Дорошевича, высмеивающего «отцов города», о каких-то сумасшедших декадентах, уверяющих, будто существуют «бледные ноги».

Заводской двор мне казался куда интереснее гостиной, где стояли пыльные пальмы в кадках, а на стене висела копия картины, изображавшая Ломоносова, который едет в Москву учиться. Можно было пойти в конюшню, там чудесно пахло, и я знал характер каждой лошади. Можно было прятаться в сорокаведерных бочках. В одном из цехов проверяли бутылки, ударяя по каждой металлической палочкой, и я считал, что эта музыка куда лучше той, которой порой нас потчевали гости — известные пианисты.

Рабочие спали в душных полутемных казармах на нарах,

покрытые тулупами; они пили кислое, испорченное пиво, иногда играли в карты, пели, сквернословили. Среди них было мало грамотных, а грамотеи читали по складам хронику происшествий в «Московском листке». Помню еще забаву: рабочие облили керосином крысу, и огненная крыса металась в кругу. Я видел жизнь нищую, темную, страшную, и меня потрясала несовместимость двух миров: вонючих казарм и гостиной, где умные люди говорили о колоратуре.

Неподалеку от завода, на Девичьем поле, на масленой устраивали гулянья с балаганами. Помню пожилого человека с лицом, обсыпанным мукой, который, кривляясь, кричал: «Уж я американец, станцюю всякий танец!...»

Я писал под диктовку рабочих письма в деревню, писал про харчи, про болезни, про свадьбы и похороны.

Одна стена завода граничила с сумасшедшим домом. Я взбирался на стену и глядел: истощенные люди в халатах шагали по дворику, где валялась всяческая рухлядь; иногда служитель кидался на больного, и тот истошно кричал.

На заводе работали специалисты – чешские пивовары. Рабочие их называли «немцами» – они, например, ели голубей, а это всеми порицалось. Сын пивовара Кары убил колуном мать и двух сестер – он решил поднести дорогое кольцо московской львице, а родители не давали ему денег. Помню обрывки фраз: «Плавают в крови... хотел взять пятьсот рублей... влюбился по уши...» Конечно, все поносили убийцу, а я вспоминал молодого тщедушного сына пивовара и про

себя думал, что взрослые тоже ничего не понимают в жизни.

Рядом с заводом был дом Л. Н. Толстого. Часто я видел, как Лев Николаевич гулял по Хамовническому переулку, по Божениновскому. Мне подарили «Детство и отрочество»; книга показалась мне скучной. Я вытащил из кладовки комплект «Нивы» с «Воскресением»; мать сказала: «Это тебе еще рано читать». Я прочел роман залпом и подумал, что Толстой знает всю правду. Отец мне дал переписать записанное цензурой обращение Толстого; я был горд, переписал аккуратно – печатными буквами.

Как-то Лев Николаевич пришел на завод и попросил отца показать ему, как варят пиво. Они обходили цехи, я не отставал ни на шаг. Мне казалось почему-то обидным, что великий писатель ростом ниже моего отца. Толстому подали горячее пиво в кружке, он, к моему изумлению, сказал: «Вкусно» – и вытер рукой бороду. Он объяснял отцу, что пиво может помочь в борьбе с водкой. Я долго потом думал о словах Толстого и начал сомневаться: может быть, и Толстой не все понимает? Я ведь был убежден, что он хочет заменить ложь правдой, а он говорил о том, как заменить водку пивом. (О водке я знал только со слов рабочих, они говорили о ней любовно, а пиво мне давали, и оно мне не нравилось).

Иногда на заводе начиналась тревога: говорили, будто студенты идут к Толстому. Запирали наглухо ворота, ставили охрану. Я тихонько выбегал на улицу – поджидал таинственных студентов, но никого не было. К сестрам приходили в

гости студенты, но, на мой взгляд, это были лжестуденты — они мирно пили чай, говорили о пьесах Ибсена, танцевали; настоящие студенты должны были сбрасывать казаков с лошадей, а потом сбросить царя с трона.

Настоящие студенты не приходили. Я страдал в детские годы бессонницей; однажды сорвал часы со стены: меня доконало их громкое тиканье, В памяти остались образы бессонных ночей: Толстой вытирает рукой бороду, молодой Кара с колуном в руке и его возлюбленная, «Лакме», сумасшедшие, балаганы, и огромная огненная крыса мечется вокруг меня.

Все изменилось, но больше всего изменилась Москва. Когда я вспоминаю улицы моего детства, мне кажется, что я это видел в кино.

Может быть, самой загадочной картиной встает передо мной конка. (Я помню, как пустили первый трамвай – от Савеловского вокзала до Страстной площади; мы стояли ошеломленные перед чудом техники, искры на дуге нас потрясали не менее, чем потрясают теперь людей спутники Земли).

Гимназия, где я учился, помещалась на Волхонке, напротив храма Христа Спасителя. Из гимназии в Хамовники я ездил иногда на конке. Ее тащила кляча; на Пречистенке перед подъемом в конку впрыгивал мальчонка; он держал вожжи второй, добавочной клячи и отчаянно гикал. На конке можно было проехать по всем Садовым, это был очень долгий путь. На разъездах конка останавливалась; пассажиры выходили и покорно смотрели вдаль – не покажется ли встречный вагончик.

Чаще я шел пешком по Пречистенке. На углу одного из переулков, кажется Штатного, была церквушка. На паперти богомаз изобразил Страшный суд: черти жарили грешников. Старушки испуганно крестились, а мне хотелось быть чертом.

Когда теперь на Кропоткинской я вижу глубокую стару-

ху с мутными растерянными глазами, которая ковыляет с авоськой, я думаю: может быть, это одна из тех гимназисток, которые весело щебетали на Пречистенке и которые казались мне не просто хорошенькими девчонками, а воплощением Женщины, как Венера Милосская, как актрисы Лина Кавальери или Отеро, знаменитые в начале века своей красотой.

Летом Москва была очень зеленой, зимой очень белой. Снег не убирали, и к масляной нарастали огромные сугробы. Бесшумно скользили сани. В мае узкие щербатые тротуары засыпал сиреневый снег; перед домами были палисадники. Золотели или голубели купола церквей. Торчали загадочные сооружения – пожарные каланчи; на верхушке вывешивали шары, помогавшие распознать, в какой части города происходит пожар. Районы города отличались также мастями лошадей пожарных: гнедые, белые, вороные. Когда мороз достигал двадцати пяти градусов по Реомюру, занятий в гимназии не было; я с вечера отогревал замерзшее стекло, глядел на термометр – вдруг мороз покрепчает; но утром на каланче флага не было – об отмене занятий также узнавали по каланче.

На Смоленском рынке летом продавали овощи, фрукты; лежали горами арбузы, их надрезали треугольником. Торговали всем, и все нещадно торговались. Охотный ряд, там, где теперь гостиница «Москва», был заполнен толпой: покупали в лавчонках живность. Огромные рыбы плавали в садках.

Охотники ходили, обвязанные гирляндами рябчиков, – продавали дичь. Центром элегантной Москвы был Кузнецкий Мост; на вывесках дорогих магазинов стояли иностранные фамилии: художественными изделиями торговали итальянцы Аванцо, Дациаро, модной одеждой – англичанин Шанкс, парфюмерией – французы, оптическими аппаратами – немцы. На окраинах было множество чайных «без права подачи крепких напитков». Там, где теперь стадион «Динамо», стояли крохотные дачи в садах: Москва быстро обрывалась. На Красной площади весной бывал вербный базар; там продавали «американских жителей» и «тещин язык». Возле Иверской часовни стояли на коленях женщины.

Появился телефон; он был только в богатых домах и в конторах крупных фирм; звонить было сложно – крутили рукоятку, в конце разговора давали отбой. Появилось также электричество, но я долго жил среди черного снега коптивших керосиновых ламп. Голландские печи блестели изразцами. Топили сильно. Между оконными рамами, покрытыми беспредметной живописью мороза, серела вата; иногда на нее ставили стаканчики с бумажными розами. Летом жужжали мухи. Блестели крашенные полы. Тишину изредка прерывал дискант маленьких собачонок – в моде были болонки и вымершие теперь мопсы. На комодах фарфоровые китайцы до одурения кивали головой. В эмалированных кружках с царским гербом (память о Ходынке) розовели гофрированные розы. К чаю подавали варенье, и варенья бывали

разные: крыжовник, русская клубника, кизиль, райские яблочки, черная смородина.

Впервые меня повели в театр на «Спящую красавицу». Околдованные феей балерины искусно замирали на пуантах. В ложах впереди сидели гимназисты в мундирах с яркими пуговицами и гимназистки в коричневых или синих платьях с нарядными передниками. Сзади томились взрослые. Отец мне протянул коробку с шоколадными конфетами, наверху лежал кусок ананаса и серебряные щипчики; щипчики я взял себе. В коридорах театра цепенели пышные капелъдинеры. Горничные в вязаных платках держали шубы, и шубы казались зверями; сибирские леса подходили вплотную к бархату и бронзе Большого театра – выдры, еноты, лисицы, соболя.

На улице, перед театром, поджидая господ, дремали кучера. У них были неимоверно большие ватные груди и бороды, белые от инея. Лошади тоже сидели на морозе. Иногда кучера, чтобы согреться, начинали несгибающимися руками бить себя по ватной груди.

На углах переулков спали извозчики; порой, просыпаясь, они глухо зазывали: «Барин, подвезу?..» Они бубнили «полтинник» и после долгих разговоров догоняли: «Извольте двугривенный...» Начинался загадочный путь через Москву. Спали дворники в подворотнях. В церковных садиках нарастали сугробы. Вдруг вскрикивал пьяница, но его быстро унимал городской в башлыке. Казалось, все спит: и седок, и извозчик, и лошадь, и Москва.

Извозчики везли седоков на Болото, на Трубу, в Мертвый переулок, в Штатный, в Николо-Песковский или в Николо-Воробьинский, на Зацепу, на Живодерку, на Разгуляй. Странные названия, будто это не улицы большого города, а вотчины удельных князей.

Когда ехали с Мясницкой через Кремль в Хамовники, у Спасских ворот извозчик и седок снимали шапки. Мороз щипал уши. Потом извозчик поворачивался к седоку и начинал длинную повесть.

О чем говорили московские извозчики? Наверное, о многом: о бедности и о морозе, о барских затеях, о своих темных дворах, о том, что больна жена или что забрили сына. Чехов написал о беседе с извозчиком один из самых раздирающих сердце рассказов – «Тоска». Но седоки не слушали, одно слово проступало – «овес». Да, разумеется, они говорили об овсе, надрываясь от горя, они пришептывали: «Прибавить бы гривенник – овес вздорожал». Они жаловались, вздыхали или сквернословили, но из всех слов, нежных или грубых, только одно доходило до ушей седока, простое и таинственное, лейтмотив длинного пути от Лефортова к Дорогомилову – «овес».

Весной выставляли двойные рамы, и Москва сразу становилась невыносимо шумной: пролетки громыхали. Возле некоторых особняков с колоннами мостовая была залита асфальтом, и колеса, как бы различая табель о рангах, переходили на почтительный шепот.

В середине мая начиналось переселение на дачи. По улицам двигались высокие возы с буфетами, пуфами, туалетными столиками, самоварами. Кухарка держала в руках клетку с канарейкой, а рядом бежала собака.

На даче были гамаки, колпаки на свечах, медные тазы для варки варенья и блестящие шары посередине клумб. Взрослые играли в карты, пили клюквенный морс и читали «Русское слово». Студенты и гимназисты старших классов шли на «площадку» – так назывались танцульки. Дети поджидали мороженщика. Иногда все отправлялись в лес – «полюбоваться природой» – и, подстелив под себя одеяла, ложились на траву. Утром разносчики и лудильщики кричали: «Куры-молодки!», «Смородина!», «Пяять, лудить, запаивать!» В воскресенье приезжали гости, они ели кулебяку, говорили о красоте сельской жизни и мирно засыпали.

Сокольники были лесом; на его опушке уже помещался «круг» – там устраивали концерты, спектакли. Баритон Шевелев сводил с ума барышень: «Люблю ли тебя – я не знаю...» Когда Шевелева сменяла потерявшая голос бывшая знаменитость, студенты уводили взволнованных барышень в боковые аллеи, и там выяснялось, что все хорошо знают, кого кто любит. Потом шли спать. Потом просыпались. Гимназисты зубрили латынь «ут финале» или играли в крокет; хозяйки раздували самовары, торговались с разносчиками и снимали с варенья бледно-розовую пену.

Шел двадцатый век. Германия уже деловито готовилась

к войне. Англичане договорились с французами о военном союзе, французы были союзниками России, и в то же время англичане заключили союз с японцами, которые готовились к нападению на Порт-Артур. Бастовали рабочие в Петербурге, в Ростове-на-Дону. В Брюсселе Ленин спорил с меньшевиками. Но в мире, где я жил, было невыносимо тихо. На Волхонке у букинистов я читал те книги, о которых взрослые при мне старались не разговаривать: Горького, Леонида Андреева, Куприна.

Каждый день я бегал в библиотеку – менял книги. Я читал залпом: мне хотелось понять жизнь. Читал Достоевского и Брема, Жюль Верна и Тургенева, Диккенса и «Живописное обозрение», и чем больше я читал, тем сильнее во всем сомневался. Ложь меня обступала со всех сторон, мне хотелось то удрать в джунгли Индии, то бросить бомбу в дом генерал-губернатора на Тверской, то повеситься.

Я бегал также в театр, выклянчивая у матери деньги. В Художественном театре играли Чехова, Ибсена, Гауптмана, у Корша – «Дети Ванюшина», в Малом – «Власть тьмы» со знаменитыми Садовскими. Гремел бас Шаляпина. Помню, кто-то из гостей рассказал, что скоро откроется «биоскоп» и там будут показывать живые фотографии.

Потом нас собрали в актовом зале гимназии, и директор торжественно прочитал манифест: «Мы, Николай Второй, самодержец всероссийский...» Началась война с Японией. В гимназии отслужили молебен, и мы долго, до хрипоты, кри-

чали «ура» — нам объявили, что занятий не будет. Война нам казалась бесконечно далекой, и я очень удивился, когда вскоре увидел моего двоюродного брата Володю Скловского в солдатской форме — он ехал из Киева в Маньчжурию.

Летом того же года я был с матерью и сестрами за границей — снова в Эмсе; там я заболел брюшным тифом. Помню, однако, два события, которые меня поразили: осаду Порт-Артура после битвы, проигранной русской армией, и смерть Чехова. Отец в тот год потерял место и, следовательно, квартиру. Он жил в номерах «Княжий двор» на Волхонке. У меня были переэкзаменовки по латыни и по математике; к началу учебного года меня отправили одного в Москву. В Берлине я должен был пойти в семейный пансион фрау Иенике, где останавливалась моя мать. У фрау Иенике на стенах красовались различные сентенции, вышитые гладью. Мне стало скучно, и вечером я направился на Фридрихштрассе, мне захотелось пирожных; я зашел в кафе, которое оказалось ночным кабаком. Кельнеры на меня косились, но пирожные все же дали, только взяли за них столько, что пришлось телеграммой выклянчить у матери добавочные деньги на дорогу в Москву.

Комната в «Княжем дворе» была маленькой, с темным альковым, но гостиничная жизнь мне понравилась: я чувствовал себя свободно. Отец уходил с утра, говорил, что ищет работу. После уроков я приводил к себе товарищей, хвастал, что живу самостоятельно, заказывал самовар,

плюшки, и мы развлекались, как могли.

(Зимой 1920 года я жил в общежитии Наркоминдела – в бывшем «Князьем дворе». Внизу спрашивали пропуска. Дежурный кричал в телефон: «Откудова звук?..» «Княжий двор» казался мне, как в детстве, восхитительным).

Собираясь в комнате «Княжьего двора», мы не только ели плюшки и развлекались: в ту осень политика впервые поступалась в мою жизнь. Я начал читать газеты. Японцы били наших, это было горько, но мы понимали, что вся беда в самодержавии. У одного из моих товарищей был дядя, связанный с эсерами; этот дядя сказал, что скоро произойдет революция, нужно будет разоружить казаков и городских, потом провозгласят республику...

Я прочитал «Преступление и наказание», судьба Сони меня мучила. Я снова думал о казармах Хамовнического завода. Нужно все перевернуть, решительно все!..

Правда, были передо мной и другие соблазны, например гимназистка Муся; она играла на фортепьяно «Песнь без слов», а потом в передней я ее целовал. Но жил я предчувствием больших и загадочных событий. Еще недавно мальчишка в Берлине восхищался пирожными со взбитыми сливками; за два-три месяца я как-то сразу вырос.

В моем первом романе «Необычайные похождения Хулио Хуренито и его учеников» один из учеников носит мое имя. Это вымышленный персонаж: никогда я не служил кассиром в публичном доме мистера Куля и не возил пулемета рим-

скому папе. Но герой, именуемый Ильей Эренбургом, подчас высказывал мои подлинные мысли. Есть в романе спор о том, что выше – утверждение или отрицание, и ученик Хуренито, Илья Эренбург, вспоминая слова Экклезиаста о том, что есть время собирать камни и время их бросать, говорит, что у него одно лицо, а не два, строить он не умеет и предпочитает бросать камни.

«Хуренито» я написал в тридцать лет, а рассказываю о той осени, когда мне было тринадцать. Я тогда не слышал об Экклезиасте, но мне смертельно хотелось расшвырять побольше камней. Кончалась пора детства – наступал пятый год.

Во время последней переписи ко мне пришла молоденькая счетчица. Она удивленно поглядела на стены: Пикассо ее возмутил.

– Неужели это вам нравится?

– Очень.

– А я вам не верю, вы это говорите потому, что он ваш приятель.

Потом я начал отвечать на вопросы.

– Образование?

– Незаконченное среднее.

Девушка обиделась:

– Я вас серьезно спрашиваю.

– А я вам серьезно отвечаю.

– Вы надо мной смеетесь. Я читала ваши книги... Перепись – важное государственное дело. Почему вы не хотите серьезно отвечать?

Она ушла обиженная. Между тем я ей сказал правду: в октябре 1907 года меня исключили из шестого класса.

О гимназии писали много – и Гарин-Михайловский, и Вересаев, и Паустовский, и Каверин. Мне кажется, что все гимназии походили одна на другую. Конечно, кое-чему я в школе научился и от некоторых преподавателей, и от товарищей, но уж не столь многому: куда лучшей школой были книги,

да и те люди, с которыми я сталкивался вне стен гимназии.

Гимназисты входили в гимназию с переулка; в огромной сборной висели сотни шинелей. Там обычно дрались «греки» с «персами» и малыши «жали масло», притискивая друг друга к стенке. Приготовишкой я увидел, как в сборной били мальчонку, накидав на него шинели, били дружно, долго и пели при этом: «Фискал, по Невскому кишки таскал...» С того дня я твердо запомнил и пронес через всю жизнь отвращение к фискалам, или, говоря по-взрослому, к доносчикам. Гимназия воспитала во мне чувство товарищества; никогда мы не думали, прав или не прав провинившийся, мы его покрывали дружным ответом: «Все! Все!»

(В 1938 году одна преподавательница детдома, куда привезли испанских ребят, жаловалась мне, что «с ними трудно, они – анархисты». Оказалось, дети, играя, разбили вазу и на вопрос, кто это сделал, ответили: «Все». Я долго убеждал преподавательницу, что в этом нет никакого анархизма, наоборот. Убеждал, но не убедил).

В торжественные дни гимназистов собирали в большом актовом зале, на стенах висели портреты четырех императоров и мраморные доски с именами учеников, получивших медали. Директором гимназии был чех Йосиф Освальдович Гобза; показывая на доски, он нам говорил, что в стенах Первой гимназии воспитывался будущий министр народного просвещения Боголепов. Гобзу мы видели редко, и грозой был инспектор Ф. С. Коробкин.

Я с нежностью вспоминаю гимназические уборные: это были наши клубы. В уборную первых четырех классов неожиданно заглядывал надзиратель и выгонял оттуда лентяев, но, перейдя в пятый класс, я увидел уборную, обладавшую конституционными гарантиями, там можно было даже курить. Стены были покрыты непристойными рисунками и стишками: «Подите прочь, теперь не ночь...» В уборной для малышей обменивались перышками или марками, второгодники (их называли «камчадалами») клялись, будто они за просто бывают в публичных домах. В уборной для старших классов говорили о рассказе Леонида Андреева «В тумане», о разоблачениях Амфитеатрова, о декадентах, о шансонетках в театре «Омона» и о многом другом.

Впрочем, в старших классах я пробыл недолго, и мои воспоминания относятся главным образом к третьему, четвертому классам. Во время большой перемены мы мчались в столовую; кто-нибудь наспех читал молитву; потом начиналась биржа: меняли пирог с морковью на голубец или котлету на пирог с рисом. Буфетчика мы звали «Артем – сопливый индюк».

Года два процветала азартная игра: какой учитель после перемены выйдет первым из учительской, можно было поставить на любого пятачок. Тотализатором ведали два «камчадала». Были фавориты, часто выходившие первыми, на них трудно было выиграть больше чем гривенник, а мне помнится, что кто-кто выиграл на немце Сетингсоне, обычно вы-

ходившем последним и вдруг выскочившем вперед, чуть ли не два рубля. (Я прочитал в воспоминаниях Брюсова, что в гимназии Креймана существовал такой тотализатор еще в 1889 году).

Из предметов мне больше других нравились русский язык, история; с математикой я был не в ладах, а латынь почему-то ненавидел. Словесность преподавал весельчак Владимир Александрович Соколов; вызывая меня к доске, он неизменно приговаривал: «Ну, Эрен-мерин...» Я не знал тогда, что такое мерин, и не обижался. Кажется, в четвертом классе мы перешли от изложений к сочинениям, и, хотя я был лентяем, сочинения меня увлекали. Владимир Александрович меня и хвалил и поругивал: «Не слушаешь в классе и все от себя пишешь, вот выгонят тебя за такие рассуждения, будешь сапожником».

Обидно, что я не могу теперь проверить, за что меня ругал Владимир Александрович, что было в моих школьных сочинениях недозволенного. А в общем, когда я стал писателем, пятьдесят лет подряд критики повторяли и повторяют слова Владимира Александровича: «Не слушает на уроках, пишет все от себя...»

Отец, когда я приносил балльник с дурными отметками, говорил, что я оболтус, что меня выгонят, придется тогда идти в гимназию Креймана, которая славилась тем, что туда принимали исключенных. Потом отец уже перестал грозить Крейманом, а просто предрекал, как Владимир Александрович.

вич: «Будешь сапожником». У меня в жизни были различные занятия, часто неприятные, но тачать обувь я не научился.

В младших классах я увлекался греческой мифологией. Потом преподаватель естественной истории А. А. Крубер, человек толковый и живой, нашел во мне благодарного ученика. К истории я не охладел, только в четвертом классе меня занимали уже не греческие богини, а более близкое прошлое. Когда я написал сочинение о том, что освобождение крестьян произошло не сверху, а снизу, директор вызвал к себе отца.

В третьем классе я стал редактором рукописного журнала «Новый луч». Журнал мы скрывали от учителей, хотя ничего страшного там не было, кроме стихов о свободе и рассказов с описанием школьного быта.

Я шел в гимназию по Пречистенке. Меня рано начали занимать два дома: женская гимназия Арсеньевой и «Кавалерственной дамы Чертковой институт для благородных девиц». Перейдя в четвертый класс, я почувствовал себя взрослым и начал влюбляться в различных гимназисток, убегал до конца последнего урока, ждал девочку у выхода и нес ее книги, аккуратно завернутые в клеенку. Узнал я и другие женские гимназии, например Алферовой на Арбате, Брюхоненко на Кисловке.

Напротив гимназии, возле собора, был чудесный сквер, там мы гуляли, назначали свидания гимназисткам, ревновали и прикидывались Печориными.

Когда я перешел в пятый класс, я выломал на гербе фуражки цифру «I», обозначавшую, в какой гимназии я учусь, — так поступали все «сознательные». Куртку мы носили, как пиджак, — поверх косоворотки. Мы старались подражать студентам: одеваться небрежно, иметь непочтительный вид и, споря о прочитанных книжках, размахивали руками.

Некоторые гимназисты были эстетами, презирали стихи Надсона и Апухтина, которыми еще зачитывались девочки, и, к ужасу своих избранниц, писали в обязательные альбомы: «О да, вас, женщины, воззвал я сам». Были и франты, ранние прожигатели жизни, «стиляги» начала века; они носили очень широкие фуражки нежно-голубого цвета, говорили о скачках, о шансонетках, о балах, хвастались — вчера на балу они пили французский ликер, а потом... Что было потом, слышал только закадычный друг хвастуна.

Часто в Колонном зале я вспоминаю, как впервые в нем очутился. Он тогда назывался «Большой зал Благородного собрания». Я пошел на вечер «в пользу недостаточных учеников московской Первой гимназии». Сначала Шаляпин пел про блоху. Гимназисты старших классов отнеслись к этому спокойно, говоря, что Шаляпин всегда поет про блоху, но я был второклассником и с восторгом повторял: «Ха-ха, блоха!» Потом начались танцы. Меня пробовали учить танцевать, я знал, что существуют десятки сложнейших танцев: падепатинер, падеспань, венгерка, мазурка, миньон, шакон и другие; но я путал все па и, главное, неизменно насту-

пал на ноги девочке, которую приглашал. В «Благородном собрании» я не хотел осрамиться и поднялся на хоры. Там я неожиданно увидел помощника классного наставника, по привычке встал и очень громко его приветствовал. Помощник классного наставника любезничал с толстой барышней и рассердился на меня.

Когда я был в четвертом классе, я ездил с товарищами приглашать актеров участвовать в благотворительном концерте. Мы были у знаменитой певицы Неждановой. Я тискал в руке белые перчатки и страдал от своей несветскости. Мои товарищи были смелее.

В нашем классе был «лев» – князь Друцкой, прекрасный танцор, он умел разговаривать с девушками. Когда мне было тринадцать лет, я ему завидовал. Но уже год спустя он казался мне неинтересным. Я читал Чернышевского, брошюры о политической экономии, «Жерминаль», старался говорить басом и на Пречистенском бульваре доказывал дочке учителя пения Наде Зориной, что любовь помогает герою бороться и умереть за свободу.

Девочки, которых я провожал из гимназии до дома, часто менялись: постоянством в четырнадцать лет я не страдал. Иногда я приглашал их в кондитерскую Пелевина на Остоженке, пирожное там стоило три копейки. Девочки мне казались неземными, но аппетит у них был хороший, и однажды мне пришлось оставить кондитеру в залог фуражку.

Мы жили тогда на Остоженке, в Савеловском переулке.

Квартира была поместительная, и у меня была отдельная комната. Я требовал от родителей, чтобы они не входили ко мне, не постучав. Мать подчинялась, но отец смеялся над моими выдумками.

На Остоженке в писчебумажном магазине я покупал открытки с фотографиями шансонеток, предпочтительно голых: я считал, что о женщинах нужно думать поменьше, но думал о них чересчур много. Помню фотографию известной красавицы Наташи Трухановой, она меня сводила с ума. Четверть века спустя в Париже я познакомился с А. А. Игнатьевым, бывшим военным атташе во Франции, сотрудником нашего торгпредства; его жена оказалась той самой Наташей, которая меня пленяла в отрочестве. Я ей рассказал о старой открытке, и мой рассказ ее рассмешил.

Моя первая любовь относится ко времени несколько более позднему – к осени 1907 года, когда меня уже прогнали из гимназии. Звали гимназистку Надя. Ее старший брат, Сергей Белобородов, был большевиком. Отец Нади читал «Московские ведомости» и зло косился на меня: я был революционером, да еще ко всему евреем, и покушался на невинность Нади. Приходил я к ней редко, и обычно мы встречались на улице, в Зачатьевском переулке. Почти каждый день мы писали друг другу длиннейшие письма, с психологическим анализом наших отношений, с упреками и клятвами, письма ревнивые, страстные и философические. Нам было по шестнадцати лет, и, вероятно, мы оба были поглощены не

столько друг другом, сколько смутным предчувствием раскрывающейся жизни.

Вернусь к гимназии. Я познакомился с некоторыми учениками старших классов – с Бухариным, Астафьевым, Циресом, Ярхо. От Бухарина я услышал впервые про исторический материализм, про прибавочную стоимость, про множество вещей, которые показались мне чрезвычайно важными и которые резко переломили мою жизнь.

Шел бурный пятый год. Богословская аудитория университета превратилась в зал для митингов. Я часто туда убегал. Рядом со студентами сидели рабочие. Мы пели «Марсельезу» и «Варшавянку». Курсистки раздавали прокламации. По рукам ходили огромные шапки с запиской: «Жертвуйте на вооружение».

Я шел по Моховой. Студенческие фуражки вдруг закружились, как осенние листья. Кто-кто крикнул: «Охотнорядцы!» Все бросились во двор университета и начали готовиться к защите крепости. Нас разбили на десятки: я мелом поставил на гимназической шинели номер. Мы таскали камни наверх, в аудитории: если враг прорвется, мы его забросаем камнями. Развели костры; жевали бутерброды с колбасой и до утра пели: «Смело, друзья, не теряйте бодрость в неравном бою!..» Мне тогда еще не было пятнадцати лет, и легко понять, что бодрости я не терял.

Помню похороны Баумана. Когда мы возвращались с кладбища, раздались выстрелы. Помню казака с серьгой в

ухе и с нагайкой. Помню декабрь: тогда впервые я увидел кровь на снегу. Я помогал строить баррикаду возле Кудринской площади. Никогда не забуду рождества – тяжелой, страшной тишины после песен, криков, выстрелов. Чернели развалины Пресни. Сапоги семеновцев щемили снег, и снег жалобно поскрипывал. Вернувшись в гимназию после рождественских каникул, я рассеянно глядел по сторонам; думал о своем: нужно найти подпольную организацию – главные бои впереди.

Год я провел в гимназии, как бы не замечая больше, что есть занятия, уроки, отметки: я был занят одним – сравнивал программы эсдеков и эсеров. За последних была романтика: боевые дружины, террор, роль личности. Но мне они казались чересчур романтическими: я помнил рабочих Хамовнического завода, и меня тянуло к большевикам, к романтике неромантического. Я уже читал статьи Ленина и понимал, что меньшевики умеренны, ближе к моему отцу. Я часто повторял про себя одно слово: «справедливость». Это очень жесткое слово, порой холодное, как металл на морозе, но тогда оно мне казалось горячим, милым, своим.

Как-то я поспорил с отцом; оказалось, что он и не слышал про большевиков и меньшевиков, ему нравились кадеты. Я долго доказывал, что необходима революция. Он сказал: «Может быть, ты и прав... Но главное – это терпимость». Трудно соблазнить терпимостью мальчишку пятнадцати лет с жестким чубом на голове и с давним желанием раскидать

тяжелые неподвижные камни. «Все или ничего!» – это восклицание одного из героев Ибсена я записал как девиз в свою записную книжку и, несмотря на пренебрежение к поэзии, повторял стихи А. К. Толстого:

Коль любить, так без рассудку,
Коль грозить, так не на шутку...

Тысяча девятьсот шестой год определил мою судьбу. Это был шумный и трудный год: еще вскипали волны революции, но начинался отлив. Одни с печалью, другие с радостью говорили, что гроза позади; восстания матросов в Кронштадте и Свеаборге казались последними раскатами грома. Гимназисты уgomонились, вернулись к учебникам: больше не было ни митингов в университете, ни демонстраций, ни баррикад. В тот год я вошел в большевистскую организацию и вскоре распрощался с гимназией. Бухарина и Астафьева я продолжал встречать, но уже не в гимназических коридорах, а на подпольных собраниях. Выбор был сделан.

В 1958 году меня разыскал мой однокашник Вася Крашенинников, по профессии врач. В старости люди начинают тянуться к полузабытым друзьям детства, отрочества. Крашенинников решил собрать тех наших школьных товарищей, которые еще остались в живых и находятся в Москве. Мы ужинали в ресторане «Прага», пятеро граждан того возраста, который теперь называют «преклонным», вспоминали

школьные проказы, учителей, девочек.

Зал ресторана постепенно заполнился; я сидел спиной к залу и не видел посетителей; вдруг я оглянулся и замер – кругом были неимоверно наруганные, растрепанные девушки, мальчишки в клетчатых пиджаках, с перманентом, прямые наследники гимназистов, носивших лазурные фуражки, и студентов-«белоподкладочников». Они танцевали, а когда музыка замолкала, наступала тишина: оживленно беседовали только пять стариков за крайним столиком.

Не знаю, почему судьба сыграла над нами столь злую шутку: мы назначили свидание в том самом месте, где собираются «стиляги». Их, право же, немного. А мы были самыми обыкновенными гимназистами начала века, которые жили, как все, случайно выжили и которые говорили в тот вечер о молодежи нашего времени не с брюзжанием стариков, а с нежностью и доверием.

«Почему тебе не нравилась Валя Козлинская? – спросил меня Крашенинников. – В нее все были влюблены...» Не знаю почему – не помню. Может быть, потому, что я был влюблен в Надю Белобородову? Может быть, потому, что я жил будущим: к величайшему ужасу матери, ко мне приходил студент-боевик Дмитрий, он показывал мне и моим товарищам, как нужно обращаться с револьвером.

Прошлое забывается; кое-что можно припомнить, другое ушло навсегда.

В томе «Литературного наследства», посвященном Маяковскому, я нашел рапорт начальника Московского охранного отделения, подполковника фон Котена, посвященный подпольной социал-демократической организации в средних учебных заведениях Москвы. Я долго думал над некоторыми именами: не могу вспомнить, о ком идет речь; рапорт охранника, однако, многое оживил в моей памяти. Фон Котен доносил:

«Более выдающуюся роль играли Брильянт, Файдыш, Эренбург и Анна Выдрина... Партия приобрела для себя из среды учеников новых работников: Файдыш – член военно-технического бюро; Эренбург, Соколов, Сахарова, Бухарин и Брильянт – районные пропагандисты; Рокшанин – техник Замоскворецкого района и Антонов – техник Городского района».

Я, конечно, хорошо помню Бухарина и Брильянта, с ними я встречался и впоследствии; вспоминаю Файдыша, Веру Сахарову, Рокшанина, а вот Антонова и Соколова не помню. В списке, составленном фон Котеном, есть и другие имена, мне

памятные, – Надя Львова, Валя Неймарк, Конкордия Ивенсон, Борис Осколков, но отсутствуют Астафьев, Членов, Маруся Львова, Ася Яковлева.

Начальник охраны кое-что напутал. Бухарина он окрестил Владимиром, это, может быть, описка. А вот ошибка поважнее: 18 января 1908 года он сообщал, что партия приобретает новых работников из среды гимназической организации. На самом деле члены партии Бухарин и Брильянт в 1906 году по указанию Московского комитета положили начало школьной организации. Что касается меня, то я сначала попал в общепартийную организацию, а потом, среди прочего, занялся школьными делами. В 1907–1908 годах ни Бухарин, ни Брильянт больше не руководили гимназической организацией, и 30 января 1908 года охранка арестовала «главарей», а именно Неймарка, Кору Ивенсон, Файдыша, Осколкова и меня.

Еще в 1906 году я познакомился с большевичкой Егоровой; у нее были очень светлые волосы, выпуклый лоб. Сначала я таскал «литературу», потом стал «организатором» в Замоскворецком районе. Пуще всего я боялся, что товарищи могут догадаться о моем возрасте, скажут, нельзя поручать пятнадцатилетнему мальчишке важные задания...

(Много лет спустя я узнал, что Маяковский занялся партийной работой, когда ему не было и пятнадцати лет; очевидно, таковы были нравы эпохи).

Расскажу сначала о моих товарищах по школьной органи-

зации.

О Бухарине мне предстоит говорить впоследствии, сейчас мне хочется просто припомнить восемнадцатилетнего юношу, которого все мы любили, называли «Бухарчиком». Он не походил на других подпольщиков: мы были чересчур серьезными, скрывали друг от друга многое, даже с девушками, в которых влюблялись, старались говорить только об историческом материализме, о том, что личность в истории ничего не значит и что «отрезки» куда лучше, чем социализация или муниципализация. Бухарин, в отличие от других, был очень веселым, я, кажется, и сейчас слышу его заразительный смех; непрестанно он прерывал разговор шутками, придуманными или нелепыми словечками, он не только разбирался в партийных дискуссиях, не только одолел политическую экономию, он знал философию, историю, словесность. Он объяснял мне, в чем величие и в чем ошибки Гегеля, каково значение древнекитайской культуры, почему протопоп Аввакум стал большим писателем. Все это не мешало ему быть точным, деловым в подпольной работе. Спорил он добродушно, но спорить с ним было опасно: он ласково вышучивал противника. Я часто у него бывал, жил он с родителями (отец его был педагогом) на Малой Никитской; иногда он приходил ко мне, и мопс Бобка неизменно старался его укусь – мопсу не нравились ни громкий смех, ни высокие сапоги. Бывают мрачайшие люди с оптимистическими идеями, бывают и веселые пессимисты; Бухарчик был удивитель-

но цельной натурой – он хотел переделать жизнь, потому что ее любил.

Брильянт (Г. Я. Сокольников) был сыном аптекаря на Трубной площади, работал он в Сокольническом районе, дружил с Бухариным, но никак на него не походил: бледный, аккуратный, он говорил всегда спокойно, чрезвычайно редко улыбался; мне казался чересчур замкнутым, даже суховатым. Когда летом 1908 года меня вели по коридору Бутырской тюрьмы, я вдруг увидел Брильянта. Мы поздоровались глазами – конспирация не позволяла большего. Его отправили в Сибирь на поселение, оттуда он убежал, и мы встретились в Париже. Он усердно занимался партийной работой, и я очень удивился, услышав, что в свободное время он переводит полюбившийся ему роман Шарль-Луи Филиппа «Бюбю с Монпарнаса». Я понял, что не такой уж он сухой, как мне казалось. А в последний раз я его видел в Лондоне, где он был послом; говорили мы о политике консерваторов, об угрозе фашизма и ни словом не вспомнили прошлого.

Сеня Членов походил на добродушного котенка: лицо широкое, часто жмурился, флегматичный, с легкой усмешкой.

Он нам объяснял роль иностранного капитала, англо-германский антагонизм, алчность и отсталость русской буржуазии, но после серьезных рефератов охотно беседовал о декадентах, о Художественном театре, о сатирических романах Анатоля Франса. Много лет спустя я с ним снова встретился в Париже – он был юрисконсультom советского посольства.

Удивительно, до чего он мало изменился; очевидно, в восемнадцать лет он был уже вполне отструганным, отшлифованным.

В Париже мы с ним подружились. Он был человеком сложным, сибаритом и в то же время революционером. Видя недостатки, он оставался верным тому делу, с которым связал свою жизнь. Вероятно, среди просвещенных римлян III века, уверовавших в христианство, были люди, похожие на Семена Борисовича Членова (мы звали его Эсбе), – они видели, как несовершенны статуи Доброго Пастыря по сравнению с Аполлоном, но вместе с другими христианами шли на пытки, на казнь. Помню, я ехал из Москвы в Париж; на пограничной станции Негорелое стоял встречный поезд; в вагоне-ресторане лениво улыбался Эсбе – его вызывали в Москву. Больше мне не удалось с ним встретиться – это было в конце 1935 года...

Мой сверстник и товарищ по гимназической организации Валя Неймарк был для меня образцом скромности и верности. Его арестовали в ту же ночь, что меня; выпустили; потом арестовали по другому делу и сослали в Сибирь. Он убежал за границу. Я поехал к нему в маленький французский городок Мрто, на границе Швейцарии. Валя работал на часовой фабрике. Во мне сказывался душевный разлад – то я мечтал вернуться в Россию и отдаться нелегальной работе, то бродил по Парижу, очарованный городом, и повторял про себя стихи о Прекрасной Даме. А Валя был прежним, участвовал

в местной социалистической организации, следил за партийной литературой; ночью он с тихим жаром доказывал мне, что через год-два в России начнется революция. Его дальнейшая жизнь была очень трудной, но до конца он сохранил страстность и чистоту подростка.

Львов был мелким почтовым служащим, жил на казенной квартире на Мясницкой; он думал, что его дочери спокойно выйдут замуж, а дочери предпочли подполье. Надя Львова была на полгода моложе меня, когда ее арестовали, ей еще не было семнадцати лет, и согласно закону ее вскоре выпустили до судебного разбирательства на поруки отца. Она ответила жандармскому полковнику: «Если вы меня выпустите, я буду продолжать мое дело». Надя любила стихи, пробовала читать мне Блока, Бальмонта, Брюсова. А я боялся всего, что может раздвоить человека: меня тянуло к искусству, и я его ненавидел. Я издевался над увлечением Нади, говорил, что стихи – вздор, «нужно взять себя в руки». Несмотря на любовь к поэзии, она прекрасно выполняла все поручения подпольной организации. Это была милая девушка, скромная, с наивными глазами и с гладко зачесанными назад русыми волосами. Старшая сестра, Маруся, относилась к ней с уважением. Училась Надя в Елизаветинской гимназии, в шестнадцать лет перешла в восьмой класс и кончила гимназию с золотой медалью. Я часто думал: вот у кого сильный характер!..

Мы расстались в конце 1908 года (я видел ее перед моим отъездом за границу). Я начал писать стихи в 1909 году, а Надя год спустя. Не знаю, при каких обстоятельствах она

познакомилась с В. Я. Брюсовым. В 1911 году Валерий Яковлевич посвятил стихотворение Н. Львовой; он писал:

Мой факел старый, просмоленный,
Окрепший с ветрами в борьбе,
Когда-то молнией зажженный,
Любовно подаю тебе.

В феврале следующего года Надя писала: «Мне все равно, мне все равно. Теперь больше, чем когда-либо... Тебя приветствую, мое поражение».

Осенью 1913 года вышли две книги: «Старая сказка» Н. Львовой и «Стихи Нелли» без имени автора, посвященные Н. Львовой, со вступительным стихотворением Брюсова, который был автором анонимной книги.

Брюсов говорил:

Пора сознаться: я – не молод; скоро сорок...

Наде было на восемнадцать лет меньше. Она писала:

Но, когда я хотела одна уйти домой, —
Я внезапно заметила, что Вы уже не молоды,
Что правый висок у вас почти седой, —
И мне от раскаянья стало холодно.

Эти строки написаны осенью 1913 года, а 24 ноября Надя покончила жизнь самоубийством. Она переводила стихи Жюль Лафорга, который писал о невыносимой скуке вос-

кресных дней; в одном из его стихотворений школьница неизвестно почему бросается с набережной в реку. Брюсов часто говорил о самоубийстве, над одним из своих стихотворений он поставил как эпиграф тютчевские слова:

И кто в избытке ощущений,
Когда кипит и стынет кровь,
Не ведал ваших искушений —
Самоубийство и Любовь!

А Надя застрелилась... В предисловии к посмертному, дополненному изданию «Старой сказки» я прочитал: «В жизни Львовой не было значительных внешних событий». Бог ты мой, сколько же должно быть событий в жизни человека? В пятнадцать лет Надя стала подпольщицей, в шестнадцать ее арестовали, в девятнадцать она начала писать стихи, а в двадцать два года застрелилась. Кажется, хватит...

На ее могиле (похоронили ее в Марьиной Роще) вырезана строка из Данте:

Любовь, которая ведет нас к смерти.

Но я сейчас думаю не о Брюсове, а о Наде: что-то меня до сих пор волнует в ее судьбе, есть близость, которая заставила меня теперь выделить рассказ о ней в отдельную главу. Да, конечно, она застрелилась, считая, что привела ее к смерти любовь, — об этом говорят все ее посмертно опубликованные стихи. Но, может быть, именно стихи привели ее к смерти?

Человеку очень трудно дается резкий переход от одного мира к другому. Надя любила Блока, но жила она книгами Чернышевского, Ленина, Плеханова, явками, «прова-лами», суровым климатом революционного подполья. Она вдруг оказалась перенесенной в зыбкий климат сонетов, секстин, ассонансов и аллитераций. Дважды в предсмертных стихах она повторяла:

Поверьте, я – только поэтка.

Ах, разве я женщина? Я только поэтка...

Может быть, погибла не женщина, столкнувшаяся со сложностями любви, а «только поэтка»?

Когда-то говорили о трудностях иммигранта, приехавшего из насиженной, надышанной Европы на пространства Дальнего Запада. Теперь говорят о тяжести космонавта в ощущении невесомости. Есть еще одна беда: оказаться перенесенным в бесплотный мир образов, слов, звуков. Кажется, это узнала Надя Львова, и, вспоминая свою раннюю молодость, я слишком хорошо понимаю ее поражение. Не выдержала...

Я еще не был знаком с Валерием Яковлевичем, когда получил от него письмо, в котором он рассказывал о своих переживаниях после самоубийства Нади. Меня не удивило, что она говорила Брюсову обо мне; но почему знаменитый поэт, к которому я относился, как к мэтру, вздумал объясняться

со мной — это осталось для меня загадкой.

Помню еще деловитую, начитанную Аню Выдрину, Асю Яковлеву, которой я увлекся, сестер Львовых.

В подполье я делал все, что делали другие: писал прокламации и варил в противне желатин листовки мы размножали на гектографе, искал «связи» и записывал адреса на папиросной бумаге, чтобы при аресте успеть их проглотить, в рабочих кружках пересказывал статьи Ленина, спорил до хрипоты с меньшевиками и старался, как мог, соблюдать правила конспирации.

Отобранные у меня при аресте записные книжки помогают мне воссоздать мой тогдашний облик. В одной из записных книжек, по словам обвинительного акта, имелись «разные статистические сведения, касающиеся русских финансов, народного образования, промышленности, сельского хозяйства, а также стачек и локаутов в Германии»: в другой — «переговорить с Борисом», «квартира», «купить книги», «относительно легальных газет», «передать печать», «передать Тимофею связь и переговорить с ним о лекциях», «передать в Хамовники о шрифте», «позвонить Ткачу».

Зимой мы часто встречались в чайных и кидали медяки в пузо горластых органов, чтобы музыка заглушала разговоры. В чайных подавали колбасу, нарезанную кубиками, и вилки с обломанными зубьями; колбаса воняла, не помогала даже горчица. Чай пили вприкуску, откалывая кусочки сахара черными щипцами. В чайных было шумно, но невесело,

люди заходили отогреться, и домашняя жестокая тоска не оставляла их.

Однажды я попал в ночную чайную для извозчиков. Перед этим я был на общегородском собрании в Марьиной Роще; нас накрыли, но всем удалось разбежаться. Я зашел в чайную, чтобы спрятаться от шпииков. Кругом сидели сонные извозчики. Хотя я пил чай с блюдечка и даже пытался кряхтеть, наверно, я в точности походил на классического «смутьяна», который снился всем околоточным. Впрочем, извозчики не обращали на меня внимания; только один вдруг с шумом встал, посмотрел на меня хитрыми глазами и сказал: «Разве это жизнь?» Я тотчас выбежал на улицу.

В общем, мне везло. Как-то вечером меня задержали на набережной возле Бутиковской мануфактуры. На мне были прокламации. Меня повели в участок. Околоточный шагал рядом. Когда мы переходили Остоженку, он остановился, чтобы пропустить лихача, я же убежал вперед, и мне удалось выбросить прокламации. В участке меня продержали несколько часов, потом пришел пристав, выругался, и меня отпустили. Раз на нас донесла жена рабочего, в квартире которого мы собирались. Она ревновала мужа и решила ему отомстить; но, видимо, она рассказала городовому что-то несусветное: он лазил под кровать, приподнимал половицы, шупал карманы – искал оружие и, ничего не найдя, ушел, даже не полюбопытствовав, кто мы такие.

Недавно в Государственном архиве на Пироговской я на-

пал на выцветшую бумажку; она мне напомнила, что «в ночь на 1 ноября 1907 года в три часа утра в квартире гимназиста Ильи Григорьева Эренбурга, проживающего в доме Варварьинского общества в Савеловском переулке, был произведен обыск» и что «ничего предосудительного найдено не было», «отобраны ноты “Русской марсельезы” и различные открытки».

В подрайоне, который мне поручили, находилась обойная фабрика Сладкова. Я подружился с механиком Тимофеем Ивановичем Илюшиным, энергичным и необычайно крепко стоящим на ногах. На фабрике устроили забастовку; я выступал на собраниях и завел подписные листы – собирал среди студентов деньги для забастовочного комитета.

Любил я и столяра-краснодеревца весельчака Василия Ивановича Чадушкина. Ни он, ни Илюшин никак не походили на угрюмых рабочих Хамовнического завода, которых я знал в годы детства. Пятый год не прошел бесследно, начал складываться рабочий авангард. У моих новых друзей я учился душевному веселью. Они жили плохо, работали тяжело и все же шутили. Для меня революционная работа была освобождением от лжи, для них она была кровным делом, сложным, но естественным.

Я хорошо помню некоторые пейзажи. Возле Шаболовки был большой пустырь, кое-где поросший жалкой травой; на ней лежали босые рабочие. Там мы собирались, говорили о статье в газете «Вперед», а также о том, что рабочие обой-

ной фабрики Сладкова требуют хозяйского мыла. Кто-нибудь обязательно стоял на часах: мог подойти свирепый городской по прозвищу «Шило». Собирались мы также на Татарском кладбище, среди старых плит; весной там цвели одуванчики, курослепы. Излюбленным местом собраний были Воробьевы горы. Наверху владельцы чайных палаток зазывали честную публику. Дымили самовары, булькала водка. Жаловалась гармоника: «Ах, зачем эта ночь так была хороша...» Собирались мы ниже, в лесочке, говорили о «связях», о листовках, оттиснутых на гектографе, о том, что вчера один из организаторов провалился с адресами...

Помню выборы делегатов на Стокгольмский съезд. Большевики должны были приглашать на предвыборные собрания меньшевика, меньшевики – большевика. Ненавидишь всегда людей скорее близких, и даже кадеты мне были, кажется, милее меньшевиков. Я пошел на собрание меньшевиков-печатников, там мое красноречие оказалось бессильным. Потом было собрание десяти или пятнадцати рабочих кирпичного завода, где имелась меньшевистская организация. От меньшевиков выступала девушка, очень серьезная, стеснявшаяся всего и всех, а я дерзил, вышучивал меньшевиков и победил: рабочие проголосовали за большевистского делегата. Девушка чуть не плакала, мы ушли с нею вместе, мне ее было жалко, но я усмехался – как-никак разбил оппортунистов!

Говорят, что иногда человек не узнает себя в зеркале. Еще

труднее узнать себя в мутном зеркале прошлого. Когда меня спрашивают о начале моей литературной работы, я называю стихи, которые написал весной 1909 года. На самом деле мои первые писания относятся к 1907 году, и они куда ближе к самодеятельной публицистике, нежели к поэзии. В архиве на Пироговской сохранилась передовая статья журнала «Звено», написанная мною. Она переполнена пафосом шестнадцатилетнего неопфита. «В тяжелое время мы приступаем к изданию нашего журнала. Черная реакция охватила всю Россию. Передовой отряд революции пролетариат – еще не оправился от поражений, не залечил своих ран. Радуются его враги, с криком “горе побежденным” обрушиваются они на революционную армию и прежде всего на ее вождя – российскую социал-демократию. С твердым сознанием новой силы, со светлой верой в конечную победу загнанный в подполье пролетариат оттачивает свое оружие – строит свою рабочую партию. Мы разделяем его веру, глубоко ненавидим нам тот строй, где рядом с роскошью и развратом царит непроглядная нищета, власть рубля и нагайки. Мы твердо убеждены в его неизбежном падении, в приходе светлого царства свободы, равенства, братства. Залогом этого является великая международная борьба пролетариата в рядах социал-демократии. Под красное знамя зовет он всех униженных и оскорбленных, всех, кто искренне жаждет обновления человечества. Тернистой, но верной дорогой идет он к цели – к социализму. И нет и не должно быть зрителей в этой ис-

торической борьбе: кто не с ним, тот против него. К тем из учащихся, кто решил отдать свою жизнь делу освобождения труда, будет направлено наше слово. Мы хотим их подготовить к трудной роли быть барабанщиками и трубачами великого класса, хотим научить их науке борьбы, хотим спаять их крепким звеном с мессией будущего – пролетарием». Я привел полностью мое первое литературное упражнение, конечно, не потому, что оно мне кажется удачным; мне хочется показать, как происходит инфляция слов и как слова меняют свое значение. В 1907 году я жаждал стать барабанщиком и трубачом для того, чтобы в 1957 году написать: «В оркестре существуют не только трубы или барабаны...»

Другое мое сочинение, озаглавленное «Два года единой партии», не сохранилось. Судя по резюме охранника, я говорил, что партия не должна пренебрегать всеми видами легальной работы и в то же время должна усилить свою нелегальную деятельность. Вопросы партийной тактики, споры различных фракций в те времена меня увлекали. Я любил говорить о примирении, но говорил о нем непримиримо.

На явках я встречал Варю, Тимофея, Таню, Егора-Моргуну: Егор был студентом, Таня – курсисткой. Иногда с Николаем Ивановичем вечером я приходил в гости к Тане или к Лидии Недокуновой; жили они на Владимиро-Долгоруковской; говорили мы о партийных делах, но и шутили, смеялись. Недавно мне привелось встретиться после пятидесятилетнего перерыва с Таней; она оказалась вдовой В. П. Но-

гина. Мы вспоминали далекое прошлое: как мы, начинающие пропагандисты, собирались на электрической станции у П. Г. Смидовича, как хорошо шутил Николай Иванович, какой задорной и светлой была наша ранняя молодость.

Встречался я неоднократно с Макаром и только много лет спустя узнал, что «Макаром» звали В. П. Ногина.

Однажды на городское собрание пришел человек с усталыми и добрыми глазами. Я глядел на него с почтением: знал, что он – член ЦК. Иннокентий (И. Ф. Дубровинский) внимательно разговаривал с каждым из нас; одному товарищу он сказал: «Плохо выглядите, нужно вам отдохнуть...» Я помню, как на меня подействовали эти слова: они не вязались с моим представлением о революции; вернее сказать, мне очень хотелось простой человеческой ласковости, но я считал, что это слабость, пережитки, «интеллигентщина».

Осенью 1907 года мне поручили наладить связи с солдатами и создать организацию в казармах. Я был восхищен трудностью и ответственностью задания. Мне дали печать – все, что осталось после очередного провала; я проштемпелевал две талонные книжки для сбора средств, а печать по глупости хранил у себя, считал, что она хорошо спрятана. (В обвинительном акте говорится, что среди отобранных у меня предметов была «мастичная печать» «Военной организации при Московском комитете Российской социал-демократической партии»). Мне удалось познакомиться с писарем нестроевой роты Несвижского полка, он привел трех солдат

пулеметной роты, потом к ним присоединился вольноопределяющийся, еще солдат, всего шесть человек – один из черновиков Красной гвардии...

Я продолжал читать романы, ходил в театры, иногда встречал знакомых, далеких от политики. Историки называют те времена «началом реакции». После яркого пятого года наступила смутная эпоха: все чего-то искали, оживленно спорили, волновались, а за всем этим чувствовались усталость, разуверение, пустота.

Вместо миньона или шакона моих детских лет барышники разучивали перед испуганными мамами кекуок и матчиш: просвещенное человечество приближалось к фокстроту. Студенты спорили, является ли «Санин» Арцыбашева идеалом современного человека: здесь было и ницшеанство для невзыскательных, и эротика, более близкая к конюшне, чем к Уайльду, и откровенность нового века. Появился рассказ Анатолия Каменского, в котором подробно излагалось, как некий офицер успел соблазнить в один день четырех женщин. В Художественном театре ставили «Жизнь человека» Леонида Андреева, наивную попытку обобщить жизнь, о которой толковал в углу сцены «Некто в сером». Польку из этой пьесы напевали или насвистывали московские интеллигенты. В том же театре шли «Слепые» Метерлинка, и от символического воя впечатлительные дамы заболевали неврастением. Никто из них не предвидел, что через десять лет появятся пшенная каша и анкеты; жизнь казалась чересчур

спокойной, люди искали в искусстве несчастья, как дефицитного сырья. Начиналась эпоха богоискательства, скандинавских альманахов, «Навьи чар».

Казалось, я был забронирован своей непримиримостью; но нет, искусство забиралось и в мое подполье. Ночами я читал Гамсуна – «Пана», «Викторию», «Мистерии», ругал себя за слабость, но восхищался: чувствовал, что есть другой мир – природа, образы, звуки, цвета. Чехов меня потрясал и тогда непонятной мне, но бесспорной правдой; я шептал: «Мисюсь, где ты?», я был влюблен в «даму с собачкой». Я увидел Айседору Дункан; она была в античной тунике и танцевала совсем не так, как Гельцер. Я говорил себе по-прежнему, что все это чепуха, но порой не мог от «чепухи» заслониться. Еще гимназистом я сказал девушке, в которую влюбился: «Короленко говорит, что человек создан для счастья, как птица для полета...» Влюблялся я часто, и мне очень хотелось счастья, но я посвящал все силы, все время другому. У нас часто употребляют как похвалу эпитет «монолитный»; а монолит – это каменная глыба. Человек куда сложнее. Даже в шестнадцать лет...

Газеты были бойкими и мрачными. Эсеры увлекались экспроприациями. Людей вешали. Охранники по ночам раздирали тюфяки и перетряхивали восемьдесят томов энциклопедии Брокгауза и Ефрона.

Блок тогда писал:

Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!
И приветствую звоном щита!

Но я не знал Блока. Я очень много не знал: я был маленьким монолитом с большой трещиной. Я ходил к гимназистке Асе Яковлевой; она была на два года старше меня и, наверно, лучше разбиралась в клубке человеческих чувств. Я рассказывал ей об итогах Лондонского съезда и старался побороть многое, что теснилось в моей груди. Разговоры о пользе и вреде кооперации прерывались короткими признаниями. Мы ссорились и мирились. На рождественские каникулы Ася уехала в Бобров, обещала, во-первых, разгромить там эсеров, во-вторых, подумать хорошенько о наших отношениях. При аресте у меня отобрали ее письмо, которое началось словами: «Илья, мне хочется более спокойно поговорить с вами...» А в конце была справка: «Реферата не читала, так как почти все с.-р. куда-то испарились, а может, и пыл пропал боевой...»

Трудно было спорить о статье Плеханова и одновременно мечтать о счастье. Я говорю об этом потому, что, в отличие от многих писателей, моих сверстников, я очень рано увидел маленький макет того душевного мира, в котором прожил потом добрых пятьдесят лет. На дворе еще стоял – если не по календарю, то по быту – девятнадцатый век, с клятвами Герцена и Огарева, с «кружением сердца», с Полиной Виардо, с «Чайкой», со стихами Надсона, а я между явками и ро-

манами Гамсуна уже предчувствовал климат иной эпохи.

Я подтруниваю над самоуверенностью мальчишки; но именно в те годы решалось для меня многое. Конечно, я шел путаной дорогой: жизнь не шоссе, а искусство и приподымает человека, и порой уводит его в сторону. И все же я вижу, что сейчас мне близок шестнадцатилетний юноша, который писал наивные прокламации. Если что-либо помогло мне пережить годы сомнений, разуверений, то только сознание, что дело, которому я отдал себя свыше пятидесяти лет тому назад, диктуется и разумом века, и моей совестью.

Пришли за мной в два часа ночи; я крепко спал и проснулся от голосов околоточного, шпиков, понятых. Я ничего не успел уничтожить. Обыск продолжался до утра. Мать плакала, и по квартире в ужасе носилась тетка, приехавшая погостить из Киева, она была в пышной нижней юбке. Помню, меня успокаивала, даже радовала мысль: как хорошо, что две недели назад мне исполнилось семнадцать лет! Значит, никто не посмеет усомниться в моей полной ответственности...

Я просидел в тюрьме всего пять месяцев, но я был мальчишкой, и мне казалось, что я сижу годы: часы в заключении другие, чем на воле, и дни могут быть необыкновенно длинными. Иногда становилось очень тоскливо, особенно под вечер, когда доносились шумы улицы, но я старался совладать с собой – тюрьма в моем представлении была экзаменом на аттестат зрелости.

За полгода я успел ознакомиться с различными тюрьмами: Мясницкой полицейской частью, Сущевской, Басманной, наконец, с Бутырками. Повсюду были свои нравы.

Тюрьмы были тогда переполнены, и неделю меня продержали в Пречистенском участке, ожидая, когда освободится место. В участке было шумно. Ночью приводили пьяниц, их нещадно лупили и сажали в пьянку – так называлась большая клетка, похожая на клетки зоопарка. Сторожили меня городовые, они часто сидя засыпали, а просыпаясь, зычно сморкались и бубнили что-то про беспокойную службу. Я думал о своем: глупо, что я не припрятал получше печать военной организации! Думал я также об Асе: обидно, мы так и не успели всего договорить!.. Меня возили в охранное отделение, там унылый зобастый фотограф приговаривал: «Голову повыше... теперь в профиль...» Я с детства увлекался фотографией, любил снимать, но не любил, когда меня фо-

тографировали, а вот в охранке обрадовался – значит, меня берут всерьез.

Меня отвезли в Мясницкую часть. Режим там был сносный. В крохотных камерах стояло по две койки. Некоторые надзиратели были добродушными, позволяли походить по коридору, другие ругались. Помню одного – когда я просил выпустить меня в отхожее место, он неизменно отвечал: «Ничего, подождешь...» Смотритель был человеком малограмотным; когда заключенным приносили книги для передачи, он сердился – не мог отличить, какие из них крамольные. В Государственном архиве я увидел его донесение, он сообщал в охранку, что отобрал принесенные мне книги – альманах «Земля» и сочинения Ибсена. Один раз он вышел из себя: «Черт знает что! Книгу для вас принесли про кнут. Не полагается! Не получите!» (Как я потом узнал, книга, его испугавшая, была романом Кнута Гамсуна).

В Мясницкой части сидел большевик В. Радус-Зенькович; мне он казался ветераном – ему было тридцать лет; сидел он не впервые, побывал в эмиграции. Моим соседом был тоже «старик» – человек с проседью. Разговаривая с ним, я старался не выдать, что мне семнадцать лет. Однажды начальник принес мне литературный альманах; я его дал соседу, который час спустя сказал: «А здесь для вас письмо». Под некоторыми буквами стояли едва заметные точки: книгу передала Ася. Я покраснел от счастья и от позора; в течение нескольких дней я боялся поглядеть соседу в глаза – чувства

мне казались недопустимой слабостью.

Гуляли мы в крохотном дворике, среди огромных сугробов. Потом неожиданно снег посерел, стал оседать – близилась весна.

Иногда нас водили в баню, это были чудесные дни. Вели нас по мостовой; прохожие глядели на преступников – кто с удивлением, кто с жалостью. Одна старушка перекрестилась и сунула мне пятак: я шел крайним. В бане мы долго мылись, парились и чувствовали себя как на воле.

Наружную охрану несли солдаты жандармского корпуса; они заговаривали с нами, говорили, что они нас уважают – мы ведь не воры, а «политики». Некоторые соглашались передавать письма на волю. Тридцатого марта я послал письмо Асе. Вероятно, перед этим я получил от нее записку, которая меня огорчила, потому что писал: «Только сознание, что для дела важно, чтобы я имел известия с воли, чтобы я не отстал от движения, заставило меня обратиться к вам с просьбой писать мне». Мое письмо было найдено у Аси при обыске и приобщено к делу. По нему я вижу, что в тюрьме продолжал жить тем же, чем жил на воле. «Приятно слышать, что дело, выдержав такие препятствия, все же идет вперед. Но то же ваше письмо говорит мне за мой план – новые члены клуба могут быть весьма симпатичными парнями, но в их социал-демократичности я весьма сомневаюсь, и их организационная работа сведется к игре деток». (Я перечитываю эти строки и улыбаюсь: семнадцатилетний мальчишка изобли-

чает детские игры новых членов ученической организации!) Дальше я писал об общих политических вопросах: “Замоскворецкое общество самообразования” не разрешено, “Трудовой союз” закрыт; правительство, очевидно, решило запечатать дверь из подполья. Мы должны ее взломать. Только одно не следует забывать – это только вспомогательное средство, а не центральное, которое должно лежать в работе в подполье».

После того как у Аси нашли это письмо, меня перевели из Мясницкой части в Суцевскую. Новая тюрьма показалась мне раем. В большой камере на нарах спало множество людей; нельзя было повернуться без того, чтобы не разбудить соседа. Все спорили, кричали, пели «Славное море, священный Байкал...» Смотритель был пьяницей, любил деньги, коньяк, шоколадные конфеты, одеколон Брокера; любил также общество интеллигентных людей, говорил: «Вы, политики, – умницы...» Разрешений на свидания не признавал, нужно было положить в бумагу три рубля. Передавать можно было все, но начальник брал себе то, что ему особенно нравилось. Иногда, изрядно выпив, он приходил в камеру, улыбаясь, слушал споры эсдеков с эсерами и приговаривал: «Вот вы ругаетесь, а я всех вас люблю – и эсеров, и большевиков, и меньшевиков. Люди вы умные, а что с Россией будет, это одному господу богу известно...» У него был мясистый багровый нос в угрях, и от него всегда несло спиртом.

Некоторые заключенные возмущались: весь день крик,

нельзя почитать. Выбрали старосту, очкастого меньшевика, он торжественно объявил, что с девяти часов утра до двенадцати шуметь запрещается. Ровно в девять три анархиста начали хрипло горланить: «Пусть черное знамя собой означает победу рабочего люда...» Они не признавали никакого регламента, даже смотритель перед ними робел: «Вы это того... преувеличиваете». (Когда в 1936 году мне привелось провести полгода с анархистами на Арагонском фронте, я вспоминал не раз камеру в Сушевской части).

Беспорядок, впрочем, царил не только в нашей камере, но и в охране: в одной камере сидели и люди, случайно арестованные, которые ждали со дня на день освобождения, и террористы, обвиняемые в вооруженных налетах, им грозила виселица. Неделю просидел церковный староста, его взяли по ошибке – разыскивали однофамильца; он каждому из нас обстоятельно доказывал, что он жертва случая, что он вполне благонадежен даже в помыслах, и никак не мог понять, почему мы в ответ смеялись. А когда пришли и сказали, что он может идти домой, он перепугался, стал говорить, что теперь-то его наверняка приведут назад – столько он наслушался за неделю недозволенного. Один эсер, участник вооруженной экспроприации, ждал смертной казни. Звали его Иванов (не знаю, была ли это подлинная фамилия). Он симулировал сумасшествие. Вначале он ограничивался кратковременными буйными припадками, потом не то переменил тактику, не то действительно тронулся, но круглые сутки

изводил нас криками, похожими на клекот птицы, беспричинным смехом, несвязными разговорами.

Следствие по моему делу вел жандармский полковник Васильев. Он старался расположить меня к себе, говорил о язвах режима, о том, что он в душе сторонник прогресса. Порой он льстил мне, порой изводил меня иронией пожилого и неглупого циника. Ему очень хотелось узнать, кто автор статьи «Два года единой партии», скоро ли произойдет новый раскол, какова позиция Ленина. На вопросы я отвечал односложно: различные документы мне переданы различными лицами, назвать которых я отказываюсь. Он заводил разговор на общие темы – о Горьком, о роли молодежи, о будущем России; говорил мне: «У меня сын вашего возраста, болван, ничем не интересуется – танцы, барышни, ликеры. А с вами приятно поговорить, вы юноша оригинальный, да и начитанный». Во время одного из допросов он начал читать вслух письмо от Аси, отобранное у меня при аресте. Я возмутился, кричал, что это не относится к допросу, что я не допущу издевательства. Он был очень доволен, называл меня «юношей с темпераментом», предлагал чай с печеньем, я отказывался. Однажды он рассказал мне, что к нему пришла девушка, которая сказала, что она моя двоюродная сестра по матери и просит о свидании со мной. «Я спросил ее, а как зовут вашу матушку, а она даже отчества не знала. Зачем вы таких дур берете в свою организацию? Я ее не задержал. Вы, конечно, догадываетесь, о ком я говорю? Яковлева. Ася». Я

еле сдержался, чтобы не выдать себя, и равнодушно ответил, что все это не относится к делу.

Полковник мне солгал. Вскоре после того, как Ася приходила к нему с просьбой о свидании, у нее был произведен обыск; на беду, мое письмо из тюрьмы лежало у нее запечатанное на столе – она не успела его прочитать и уничтожить. Восьмого апреля Асю арестовали и привлекли к делу об ученической организации, а две недели спустя выпустили под залог в двести рублей.

Разумеется, я ненавидел полковника Васильева, но он казался мне интересной фигурой, хитрым следователем из романа. Я ведь думал, что все жандармы глупые и невежественные держиморды.

Жандармское управление помещалось на Кудринской площади. Возили меня на извозчике; рядом сидел жандарм. Я жадно разглядывал прохожих – вдруг окажется знакомый?.. Шли мастеровые, франты, гимназистки, военные. В палисадниках цвела сирень. Ни одного знакомого...

На последнем допросе мне сказали, что будут привлечены к суду за участие в ученической организации РСДРП Эрenburg, Осколков, Неймарк, Львова, Ивенсон, Соколов и Яковлева – первая часть 126 статьи. Помимо этого, я буду привлечен по первой части 102 статьи за участие в военной организации. Васильев, усмехаясь, пояснил: «Вам лично должны дать шесть лет каторжных работ, но треть скостят по несовершеннолетию. Потом – вечное поселение. Оттуда вы уде-

рете — я вас знаю...»

Некоторые заключенные, воспользовавшись разгильдяйством начальника Суцевки, организовали побег; насколько я помню, удалось убежать четверым. Впервые я увидел смотрителя мрачным. Не знаю, остался ли он на своем посту, но мы заплатились: нас тотчас перевели в различные места заключения как «соучастников побега».

Увидев меня, смотритель Басманной части гаркнул: «Снимай портки!» Начался личный обыск. Из рая я попал в ад. Увесистая оплеуха быстро меня познакомила с новым режимом. В Басманке мы объявили голодовку, требуя перевода в другую тюрьму. Помню, как я попросил товарища, чтобы он плюнул на хлеб, — боялся, что не выдержу и отщипну кусок...

Меня перевели в одиночную камеру Бутырской тюрьмы; для меня это было наказанием — дело, разумеется, в возрасте; если бы теперь мне предложили на выбор общую камеру в Суцевке или одиночку, я ни минуты не колебался бы; но в семнадцать лет коротать время с самим собой нелегко, да еще без свиданий, без писем, без бумаги.

Я попробовал перестукиваться, никто не ответил. На прогулку меня не пускали. В маленькое оконце врывался яркий свет летнего дня. Воняла параша. Я начал читать вслух стихи — надзиратель пригрозил, что посадит меня в карцер. Я потребовал бумагу для заявления и написал в жандармское управление, что «содержащийся в Московской пересыльной

тюрьме Илья Эренбург» не хочет дольше сидеть за решеткой: «Прошу немедленно освободить меня из-под стражи. Если же меня хотят заморить или свести с ума до суда, то пусть мне заявят об этом». Я переписываю эти строки и смеюсь, а когда я их писал, мне было совсем не смешно. Заявление пронумеровали и приобщили к делу.

Тюремный врач нашел, что я болен острой формой неврастения. Он многого не знал: я продолжал думать о различных партийных делах, об использовании для партийной работы кооперации, о некоторых рабочих с завода Гужона, которых следовало выдвинуть вперед; сочинял без бумаги «ответ Плеханову». Думал я и о том, что Ася сдала экзамены, поступает на Высшие курсы – вряд ли наши пути в жизни сплетутся. Думал я в тюрьме и не только об этом: я начал думать о жизни, о тех больших и не вполне ясных вопросах, о которых не успел задуматься на воле. В общем, и тюрьма хорошая школа, если только тебя не секут, не пытаются и если ты знаешь, что посадили тебя враги и что о тебе дружески вспоминают единомышленники.

«С вещами!..» Я подумал, что меня переводят в новую тюрьму, но мне показали бумагу: «Распишитесь». Меня выпускали до судебного разбирательства под гласный надзор полиции; я должен был незамедлительно покинуть Москву и выехать в Киев.

Я вышел на Долгоруковскую и замер. Все можно забыть, а вот этого не забудешь! В спокойные времена в спокойной

стране человек растет, учится, женится, работает, хворает, дряхлеет; он может прожить всю жизнь, так и не поняв, что такое свобода; вероятно, он всегда чувствует себя свободным в той мере, в которой положено быть свободным пристойному гражданину, обладающему средним воображением. Выйдя из тюремных ворот, я остолбенел. Извозчики, парень с гармошкой, лоток, молочная Чичкина, булочная Савостьянова, девушки, собаки, десять переулков, сто дворов. Можно пойти прямо, свернуть направо или налево... Вот тогда-то я понял, что такое свобода, понял на всю жизнь.

(Никогда я не мог разгадать пушкинских строк: «На свете счастья нет, но есть покой и воля...» Много раз я думал над этими словами, но так их и не понял: жизнь изменилась. В 1949 году я сидел рядом с С. Я. Маршаком в партере Большого театра; на сцене произносили речи о Пушкине – это был юбилейный вечер. Потом мы пошли в кафе на углу Кузнецкого Моста. Я спросил Самуила Яковлевича, о каком счастье мечтал Пушкин, помимо покоя и воли; Маршак ничего не ответил).

А на Долгоруковской я долго стоял и улыбался; потом пошел домой, на Остоженку, мимо Страстной площади, там я поздоровался с Пушкиным, шел по зеленым бульварам, шел и все время улыбался.

Из Киева меня скоро выслали и заодно почему-то запретили проживание в Киевской, Волынской и Каменец-Подольской губерниях. Я получил проходное свидетельство в Полтаву: там жил брат моей матери, либеральный адвокат.

Город мне показался милым: тихие улицы, сады с золотыми деревьями, белые домики; но «гласный надзор полиции» мог отравить жизнь и в идиллической Полтаве. Конечно, дядюшка меня любезно принял, но я понял, что чем реже буду у него бывать, тем ему будет спокойнее. Я начал поиски комнаты; приходилось предупреждать квартировладельцев, что я состою под надзором полиции. После такого предупреждения мне неизменно отказывали – одни грубо, другие с виноватым видом, ссылаясь на тяжелые и без того условия. Наконец я попал к мужскому портному Браве, который, посоветовавшись с женой, решил сдать мне комнатушку. Я вынул книги, тетради и решил прочно обосноваться в Полтаве. Разумеется, я надеялся продолжать подпольную работу; у меня был адрес одного рабочего – мне его дали в Киеве. В течение недели я ходил с одного конца города в другой, желая убедиться, что за мной не следует шпик.

Одиннадцатого ноября 1908 года начальник полтавского жандармского управления полковник Нестеров писал: «По организации РСДРП доношу, что вновь вошедшие лица в

сферу наблюдения за октябрь» – следовал список, и в нем «Илья Григорьев Эренбург – студент». Жалко, что с его до-несением я ознакомился полвека спустя: наверно, мне польстило бы, что он принял меня за студента.

Мне трудно было бы вспомнить некоторые подробности моей полтавской жизни; на помощь еще раз пришли архивы полиции: «Копия с полученного агентурным путем письма поднадзорного Ильи Григорьева Эренбурга. Полтава от 21 сентября 1908 г. к Симе в Киев. “Уважаемый товарищ! Сообщаю некоторые сведения о состоянии Полтавских организаций. Существуют 2–3 кружка, сил нет. Вообще положение плачевное. Говорить при таких условиях о конференции по меньшей мере смешно... Меня как “большевика” долго не пускали, да и теперь держат на “исключительном положении”. Очень просил бы вас выслать несколько десятков “Южного пролетария”, а также сообщить, что у вас нового”».

Я не помню Симы, но вспоминаю, что в Полтаве была меньшевистская организация, и, будучи большевиком, к тому же чрезвычайно молодым и чрезвычайно дерзким, я напугал милого тщедушного меньшевика с чеховской бородкой, который приговаривал: «Нельзя же так – все сразу, право, нельзя...» Мне удалось, однако, связаться с тремя большевиками, работавшими в железнодорожном депо, и написать две прокламации.

Я должен был раз в неделю являться в участок, но «гласный надзор» этим не ограничивался: то и дело ко мне при-

ходили городовые, будили на рассвете, стучали в окошко ночью. Как-то, возвратившись домой, я увидел на моей постели городского в башлыке; он укоризненно сказал «все ходите», взял со стола тетрадку-конспект «Истории философии» Куно Фишера, – аккуратно связал веревкой мои книги и уволок их.

Портной Браве, всхлипывая, попросил меня освободить комнату: в участке ему сказали, что, если он меня не выдворит, у него будут крупные неприятности. Снова начались унижительные поиски жилья. На третий или четвертый день я нашел удобную комнату, и хозяин в ответ на мое предупреждение рассмеялся: «Я сам поднадзорный...» Он сочувствовал эсерам, и мы по ночам спорили о роли личности в истории; иногда нашу дискуссию прерывал очередной визит городского.

Дядя предложил мне пойти в окружной суд он защищал горемыку, которого обвиняли в краже. Я начал каждый день ходить на судебные разбирательства – они мне показались куда интереснее романов. Я знал, что люди живут плохо, помнил казармы Хамовнического завода, видел ночлежки, ночные чайные, пьяниц, людей жестоких и темных, увидел тюрьму. Но все это было извне, а на суде передо мной раскрывались сердца людей. Почему тихая, скромная крестьянка зверски убила соседа? Почему старик зарезал падчерицу, с которой он жил? Почему люди верили рябому, уродливо-мудотворцу? Почему они полны темноты, предрассудков,

бурных и непонятных им самим страстей? Я и до того знал, что есть «база» и «надстройка», но в Полтаве я впервые серьезно задумался над уродливостью и вместе с тем прочностью «надстройки». Прежде мне казалось, что можно изменить людей в двадцать четыре часа – стоит только пролетариату взять в свои руки власть. Слушая признания подсудимых, показания свидетелей, я понял, что все не так просто. Я взял из библиотеки рассказы Чехова.

В Полтаве я продержался всего полтора месяца. Меня вызвал полицеймейстер и сказал, что мне придется покинуть город. «Куда вы намереваетесь отправиться?» Я ответил первое, что мне пришло в голову: «В Смоленск».

Я не знал, что причину хлопоты властям в Смоленске. Недавно Р. Островская, научный сотрудник смоленского архива, прислала мне справку. Оказывается, полковник Нестеров сообщил своему коллеге в Смоленске, генералу Громыко, что «бывший студент Илья Григорьев Эренбург 10 ноября изъявил свое согласие перейти на жительство в гор. Смоленск, куда ему полтавским полицеймейстером было выдано проходное свидетельство». Одновременно полковник Нестеров предупреждал генерала Громыко: «Означенный Эренбург, проживая в Полтаве, успел войти в сношение с лицами, принадлежащими к местной организации Российской социал-демократической рабочей партии». Двадцать четвертого ноября начальник смоленского жандармского управления приказал тотчас сообщить ему о моем приезде в Смоленск.

Меня долго разыскивали.

Из Полтавы я поехал в Киев и неделю прожил там без прописки. Каждую ночь приходилось ночевать на новом месте. Как-то я пришел вечером по указанному адресу, звонил, стучался в дверь, но напрасно. Может быть, я неверно записал адрес, не знаю. Я шагал по Бибиковскому бульвару. Было холодно, падал мокрый снег. Навстречу шла молоденькая девушка, на ней были летние туфли. Она позвала меня: «Пойдем?» Я отказался. Час спустя мы снова встретились; она поняла, что у меня нет ночлега, отвела к себе в теплую комнату – «отогреешься», – дала пачку папирос (я не курил, но от папиросы никогда не отказывался), а сама пошла на бульвар – искать клиента.

(Среди проституток есть много женщин с нерастраченной нежностью. Это понял итальянский кинорежиссер Феллини, работая над «Ночами Кабирии». Я видел его последний фильм «Сладкая жизнь», фильм чрезвычайно жестокий, в нем, пожалуй, единственное теплое, человеческое – это римская проститутка, которая доброжелательно принимает у себя парочку богатых изломанных влюбленных).

В Москве меня ждали те же трудности. Домой я не мог пойти и не знал, где мне приютиться. Пришлось разыскивать знакомых, не связанных с подпольем, так называемых «сочувствующих». Один мой товарищ по гимназии, увидев меня, чрезвычайно испугался, стал говорить, что он сдает выпускные экзамены, что я могу погубить всю его жизнь, пред-

лагал деньги и выталкивал в переднюю. Ночевал я у одной акушерки; она так боялась, что не могла уснуть, да и мне не дала: все время ей казалось, что кто-то идет по лестнице, она плакала и жадно глотала эфирно-валериановые капли. Вскоре ночевки иссякли. Я провел ночь на улице. Я ходил и думал: вот мой город, вот дом, куда я приходил, и для меня нет места!.. Глупые мысли, их оправдывает только молодость.

Еще более глупым было дальнейшее: я направился в жандармское управление и заявил, что предпочитаю тюрьму «гласному надзору». Полковник Васильев долго надо мной смеялся, потом сказал: «Ваш батюшка подал заявление о том, чтобы вам разрешили кратковременный выезд за границу для лечения». Я решил, что полковник надо мной издевается, но он показал мне бумагу о том, что на юридическом языке называется «изменением меры пресечения». В бумаге говорилось, что надзор полиции признан недостаточным и что «для обеспечения явки на судебное разбирательство» мой отец должен внести за меня залог в размере пяти-сот рублей. (За Кору Ивенсон взяли четыреста, за Неймарка – триста, за Яковлеву – двести, за Осколкова – сто. Не знаю, кто устанавливал расценку и чем он руководствовался).

Обвинительный акт был вручен обвиняемым полтора года спустя – 31 мая 1910 года. Я тогда жил в Париже и писал стихи о средневековых рыцарях. Меня официально уведомили, что мой отъезд за границу был произведен незаконно, ибо «закон исключает возможность разрешения обвиня-

емым пребывания за границей, то есть за пределами досягаемости». Отцу было объявлено, что внесенный им залог «на основании 427 статьи Устава уголовного уложения будет обращен в капитал на устройство мест заключения».

(Судебная палата в сентябре 1911 года разбирала дело об ученической организации; дело о скрывшихся Эренбурге и Неймарке выделили и отложили до розыска виновных. Судили тех, у кого ничего не нашли. Защитники не без основания указывали, что зачинщики скрылись. Осколкова приговорили к восьми месяцам заключения, остальных оправдали).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.